



ю прихожую, оставив
крытой. Там было пусто.
Тоже была не заперта.
в дугообразном коридо-
лась, чтобы решить —
двигаться.

редно пробежали в левую
сторону три человека — один маленький, с
легкой поступью, второй — крупный и тяже-
лый мужчина, третий — тоже мужчина, но

Это имя звенело в моей бедной голове.
Страшный человек все глядел на меня — и я
поняла, что сейчас стану следующей жертвой.
Я вскочила и понеслась прочь. Он — за мной
следом.

Далия Трускиновская

— Спасите, горим!
Я споткнулась и упала. Смерть казалась не-



Я на четвер-
шага, я на-
хо, — говори-
сейчас надо у-
Я сделала четвертый шаг

не стало: на полу лежал Лучиано Гери-
его груди, там, где должно быть сердце, тор-
чала черная рукоятка ножа.

Я не помню, как оказалась перед ним на коле-

Опасные

из зарослей тигр, несчастный видит тоже
только горящие глаза и разинутую пасть.
Но кричал не он, кричал кто-то другой, не
этот. Этот лишь глядел на меня из морка так

— Фрекен! Очнитесь! Гаврю-
ша, утешь ее как-нибудь по-немецки, я не
умею...

— Не надо, — сказала я. — Не трогайте ме-
ня... оставьте...

гастроли

светом, чтобы ждать смерти в черном подзе-
мелье, в безнадежном одиночестве.
Я захлебывалась рыданиями и не могла оста-
новиться.



RETRO-детектив

Даля Трускиновская

Опасные гастроли

«ВЕЧЕ»

2015

Трускиновская Д. М.

Опасные гастроли / Д. М. Трускиновская — «ВЕЧЕ»,
2015 — (RETRO-детектив)

Лето 1831 года в Риге было ознаменовано приездом на гастроли известного конного цирка господина де Баха. Труппа конных акробатов – одна из лучших в Европе – выступала на лошадях знаменитой и редкой породы липпициан. Публика была в восторге. Но на этот раз гастроли с самого начала были омрачены загадочными и трагическими событиями. Во время пожара из конюшен пропали два липпициана и был убит премьер конной труппы – Лучиано Гверра. Подозрение пало сразу на несколько человек... Новый роман признанного мастера исторического детектива Далии Трускиновской доставит немало приятных минут всем поклонникам жанра!

© Трускиновская Д. М., 2015

© ВЕЧЕ, 2015

Содержание

Пролог	6
Глава первая	7
Глава вторая	15
Глава третья	26
Глава четвертая	38
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Дарья Плещеева

Опасные гастроли

© Трускиновская Д. М., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

* * *

Пролог

Эту историю расскажут поочередно двое ее участников – девица Елизавета Ивановна Полунина, выпускница Екатерининского института (ныне его все чаще называют Смольным), и отставной штурман Алексей Дмитриевич Сурков. Они, разумеется, не вели в лето 1831 года дневников (девица Полунина, впрочем, имела тетрадку, в которой записывала свое мнение о прочитанных книгах), и у них не было конфидентов, которым они рассказывали бы о своих приключениях подробно и по мере развития событий. Но если бы они впрямь написали дневники, не считаясь со временем, не слишком забегая вперед и чувствуя себя так, словно рассказывают причудливую историю благожелательному собеседнику, то их записи выглядели бы примерно такими, какими увидишь их ты, уважаемый читатель.

На самом деле их рассказы были бессвязны, а на первых порах и не совсем правдивы. Что поделать – каждому хочется получше выглядеть в глазах слушателя, особенно если слушатель этот – чиновник особых поручений столичной сыскной полиции.

Мне показалось забавным рассказать эту историю их устами – действия простых людей, вовлеченных в расследование преступления, и их рассуждения с точки зрения опытного сыщика выглядят порой комически. Особую прелесть их рассказам придавало упоминание моей скромной персоны. Эти моменты меня немало повеселили. Но я преклоняюсь перед сообразительностью Алексея Дмитриевича, который, не зная того, что было известно мне, сумел выйти на след настоящих преступников.

Следует учесть, что оба эти литератора поневоле мало разбираются в международной политике и могут не знать простых вещей лишь потому, что в их кругу не было принято придавать этим вещам хоть какое-то значение. Кроме того, и Елизавета Ивановна, и Алексей Дмитриевич по натуре своей – люди домашние и семейные, хотя сами об этом не догадываются. Они склонны к спокойной и размеренной жизни, в которой почти не бывает потрясений, зато есть уверенность в завтрашнем дне. Все, что пахнет бунтом, они исследуют с очень большого расстояния и, убедившись, что пользы от буйных и отчаянных действий сами смутьяны – и то не получают, устраняются даже от обсуждений опасных предметов. У обоих в памяти – декабрьские события 1825 года, оба испытывают величайшую жалость к людям своего круга, сбившимся с пути, – и не более того. Именно поэтому они не докапываются до глубоко лежащих причин польского бунта – им довольно знать, что всякий бунт несет горе и страдания, благородных же своих целей не достигает никогда, и более того – это благородство чаще всего оказывается мнимым, словесным, придуманным для прикрытия одной малопочтенной цели, а цель эта – борьба за власть.

И еще – поскольку Сурков моряк, а Полунина – благовоспитанная девица, они плохо разбираются в лошадях и мало что могли бы рассказать о знаменитых липпицианах. Поэтому мне пришлось вложить в их уста рассуждения, якобы услышанные ими от других людей, чтобы уважаемый читатель мог понять: это столь прекрасные и разумные кони, что совершенные ради них преступления никого не должны удивлять; за обладание «школьным» липпицианом знатоки готовы отдать целое состояние. Не оправдывая тех, кто способен пролить человеческую кровь ради породистой лошади, скажу все же, что страсть, живущая в душе настоящего лошадики, сродни помешательству и заслуживает снисхождения.

Коллежский ассессор Сергей Карлович Штерн

Глава первая

Рассказывает мисс Бетти

Меня разбудило солнце. Комната моя была расположена столь удачно, что, к какой стенке ни поставь кровать, от утренних лучей не уберешься. Я открыла глаза и тяжело вздохнула – не миновать мне идти с моими ненаглядными воспитанницами в Верманский парк. Всякий раз в хорошую погоду мы, миссис Кларенс и я, выводили на прогулку шесть душ детей, из которых старшей было пятнадцать, а младшему – три года.

Верманский парк хорош тем, что имеет ограду. А ограда плоха тем, что девятилетний мальчик преспокойно ее одолевает и отправляется на поиски приключений. Я уж не говорю о двенадцатилетнем мальчике, который, сговорившись с девятилетним, может оказаться в самом неожиданном месте сего богоспасаемого города. Особенно их влечет крепость – из-за ограды видны ее старые бастионы и рavelин меж ними, через который ведет дорога к Александровским воротам. Они знают, что городские мальчишки играют на укреплениях и возле зловонного рва, строят там плоты из ящиков и пускаются в плавание.

Миссис Кларенс после того, как Николеньку и Васю привел домой квартальный надзиратель, мокрых и грязных, кричала, что ее брали в дом для ухода за малютками, Анютой и Сашенькой, я напомнила Варваре Петровне, что моя задача – воспитывать девиц, Марью Алексеевну и Екатерину Алексеевну, давать им уроки музыки, рисования, рукоделия и изящной словесности. С мальчиками занимались приходящие учителя, а на прогулках, так получалось, следить за ними как будто некому – никто не был за них в прямом ответе.

Эту неприятность вполне можно было предвидеть и не оставаться на лето в городе с его соблазнами, а снять дачу. Но с дачей наша добрейшая Варвара Петровна оплошала. Ей посоветовали поехать на все лето в Майоренгоф или в Дуббельн. Обе эти деревни стоят на морском берегу, в обеих устроены купания. Оставалось лишь выбрать – но вмешались наши барышни и попросились в Дуббельн. И неудивительно – там еще с тринадцатого года повадились отдыхать господа военные под тем предлогом, что будто бы морская вода врачует их раны, понастроили дач, и везти туда двух юных девиц, одной из которых пятнадцать с половиной, и она уже почитает себя невестой, а другой четырнадцать, Варвара Петровна побоялась. Мало ли случаев, когда молодой повеса смутит неопытную невинность – а кончается все чахоткой? В Майоренгофе же ее рассердило наличие длинной и смрадной канавы в полуверсте от берега, проходившей через селение и отравлявшей дачникам все удовольствие. Тут еще прибавилась третья возможность – снять, как многие рижане, хорошенький домик на Красной Двине, там был превосходный сад, но не было купания. Варвара Петровна растерялась от такого изобилия, не сделала вовремя выбора – и мы остались на лето в городе.

Дачей нам служил Верманский парк с его аллеями, клумбами, нарядными белыми скамейками. Единственно – меня несколько смущало, что его разбили на месте домов, сгоревших в двенадцатом году, когда Бонапарт двинул свою орду большею частью на Москву, но некоторое количество войска – на Санкт-Петербург через Ригу. Риги он не взял, но предместья сильно пострадали от огня, и я, глядя на молодые деревца, всякий раз думала с печалью – не растут ли они над безымянными могилами. Парк разбили в семнадцатом, сейчас на дворе тридцать первый – когда ж им было вырасти? И потому в поисках благодатной тени мы обходили все закоулки.

Я всякий раз брала с собой томик стихов, чтобы читать моим девицам вслух, а они брали корзинку с рукоделием – читать они не любили, а слушать еще соглашались. Рукоделия они тоже не любили, но тут уж Варвара Петровна следила за их успехами и жестоко карала за лень

и неопрятность. Музыкай, правда, обе сестрицы занимались охотно, музыка – искусство светское, трудно надеяться на поклонников девице, которая не поет и не играет на клавиночках.

В тот день мы вышли, как говорится, со всем двором, опричь хором, и даже Варвара Петровна пошла в парк – там она уговорилась встретиться с приятельницей своей. Приятельница, также мать семейства, ждала нас в условленном месте, дети сразу же перемешались, и мы не сразу заметили пропажу мальчиков. Я, как всегда, пошла их искать, высматривая полосатые тиковые панталончики, как у матросов, и короткие синие курточки. Детей я обнаружила у ограды. Стоя на чугунной перекладине, они смотрели, что делается по ту сторону улицы.

Тут надо сказать, что парк состоял из двух частей – Большого Верманского и Малого Верманского. Их разделяла неширокая улица. Мы гуляли обычно в Большом, хотя и он своими размерами скорей достоин был имени Крошечного – для тех, кто бродил по великолепным паркам Царского Села, рижский скорее смахивал на ухоженный двор барской усадьбы средних размеров. И вот сейчас в Малом началось какое-то строительство – возводили дощатое здание. Работники только приступили к делу, но уже можно было понять, что оно будет круглым.

– Что это, мисс Бетти? – спросил старший, Вася.

– Сколько можно просить, чтобы меня не звали мисс Бетти? – отвечала я. – У меня, слава Богу, есть русское имя, которое тебе прекрасно известно.

– А почему нельзя, если вы говорите по-английски, Елизавета Ивановна?

– Потому что я русская. Вот ты же учишь латынь – и что, когда ты сможешь прочитать наизусть «Ехеги monumentum», так уж и станешь древним римлянином? – спросила я.

Вася задумался – он уже пробовал читать Плутарха и кое-что знал об этом народе, но ему не понравилось, что Юлий Цезарь и Брут носили какие-то складчатые простыни, не стесняясь появляться в них на людях, а не яркие мундиры наподобие гусарских.

– Это будет дом? А почему в парке? А какие будут окна? – Николенька, очевидно, решил, что у круглого сооружения и окошки должны быть соответствующие, не говоря уж о дверях.

– Знаете, дети, похоже, что там строят цирк, вроде того, что в столице на Фонтанке, – ответила я мальчикам, но не сразу, а вспомнив недавний разговор в гостиной.

Общество у нас по четвергам собирается почти изысканное – недостает, конечно, господ сочинителей, как в порядочном петербургском или московском салоне, но некоторые молодые чиновники весьма начитанны и могут потолковать о Пушкине или Загоскине, именуя их литераторами, как будто русское слово уже отменили. Плохо лишь, что они пытаются за мной волочиться. Как будто я даю им повод питать хоть малейшую надежду!

Я твердо решила, что супружеская жизнь мне противопоказана, шесть лет назад. Каждому – свое, господа, и не родился еще мужчина, который разубедит меня в моем решении. Потому что, в отличие от большинства девиц, я имею идеалы. Меня так воспитали, что идеалы непременно должны быть и поддерживать девушку в нелегком жизненном пути. Единственное, что меня немного удручает: незамужняя особа не может устроить у себя литературный салон, что-то в таком салоне будет не комильфо, даже если особа блещет добродетелью. Да и кто к ней туда пойдет? Замужней даме легче – общество к ней благоволит. Так что в моем положении самое разумное – выбрать подходящее семейство, чтобы служить в нем домашней учительницей. Ненавижу слово «гувернантка»! Я – домашняя учительница, к этой карьере меня готовили с ранней юности. И я выбрала именно то семейство, в коем хозяйка пытается сделать из своей гостиной прибежище людей более или менее светских и склонных к изящным искусствам. Она и альбомы завела – свой и два, принадлежащих дочкам, чтобы гости оставляли там рисунки и примечания.

Так вот, на днях как раз и говорили, что в Рижском замке побывал удивительный господин по прозванию де Бах. Казалось бы, с таким прозванием, да в таком отлично сшитом сюртуке он непременно окажется французом, но он отрекомендовался уроженцем Курляндии и говорил соответственно по-немецки. Проверить, доподлинно ли он жил сорок лет

назад в некоем курляндском городишке, откуда десятилетним сбежал с труппой странствующих наездников, которые показывают мастерство на ярмарках, было, разумеется, невозможно, однако этот прекрасно одетый господин имел рекомендательные письма, из которых следовало, что ныне он – владелец каменного здания с манежем и местами для зрителей в Вене на Пратере, который сам же и построил. Целью его было дать в Риге несколько представлений, поставив для этого деревянный манеж, который он называет на древнеримский манер «цирком», в том месте, какое ему укажут. Несколько раз он напомнил, что на его представления приезжал сам государь император и изволил хвалить виртуозов вольтижировки и превосходных лошадей. Любовь государя к кавалерии всем известна – видимо, содержатель труппы говорил чистую правду.

Мальчики стали спрашивать, что такое цирк, и я рассказала то немногое, что знала о столичном Симеоновском. Любопытство их было разбужено – оставалось лишь добавить, что те, кто тайно убегают из Верманского парка, на цирковое представление не пойдут никогда. Две недели благонаравия были нам обеспечены!

В Риге были всякие увеселения, но низкого пошиба – не те, на которые стоило водить детей из благородных семейств. А цирк, где вроде бы им не грозило наслушаться непристойностей, цирк, где главным было искусство наездников, в этом городе отсутствовал. Поэтому я посоветовала Варваре Петровне взять ложу на одно из представлений.

– И даже не на одно, мисс Бетти, – отвечала она, желая уязвить меня.

– Туда придут молодые люди, военные – сказывали, этот де Бах приведет породистых лошадей, а наших офицеров хлебом не корми – дай посудачить о конских крупах и копытах! Иной за всю жизнь раза два в седло сел, а туда же – вместе с уланами так речисто о них толкует, что заслушаешься – соловей, да и только! Потом лишь догадаешься, что не соловей, а попугай.

Она порой бывала очень зла на язык, да как же и не озлиться, имея дочек на выданье – и ни одного подходящего жениха на десять верст вокруг! Я втихомолку надеялась, что через год-другой моя Варвара Петровна дернет за все мыслимые и немыслимые веревочки – и устроит перевод супруга если не в столицу, так хоть в Гатчину – лишь бы к женихам поближе! Дамы из чиновных кругов на такие фокусы горазды – глядишь, и я вместе с семейством вернусь в столицу.

Столичные удовольствия влекли меня – я изнывала без театра и без приятных собеседников. Но сердце мое сжималось при мысли, что две милые девочки, воспитанницы мои, скоро будут оторваны от меня и отданы грубым мужланам, возможно, намного старше себя. Они конечно же не были образцовыми девицами, их прилежание порой приводило меня в бешенство, но как бы я хотела избавить их от печальной доли замужних дам! В своей невинности они и не подозревали, к какому аду стремятся. Я же знала о супружестве довольно, чтобы получить к нему отвращение. Лучшую подругу мою, Сашетт Давыдову, семнадцатилетней отдали за дряхлого генерала, старше ее ровно на сорок лет. Она едва не наложила на себя руки – столь отвратительна показалась ей та сторона жизни, о которой нам в институте не говорили ни слова.

Когда нам недавно прислали самую прекрасную литературную новинку, последнюю главу «Онегина», я прочитала о замужестве Татьяны – и разрыдалась. Все время, сколько господин Пушкин писал свой роман в стихах, я ощущала Татьяной себя, между нами возникла мистическая связь. Точно так же, как она, я всюду была чужой, точно так же любила лишь идеал – и полагала, что никогда не унижусь до пошлостей жизни. И вдруг – какой-то старый и толстый генерал, едва ли не такой же, как у бедной Сашетт! Одна лишь строка несколько примирила меня с браком Татьяны: она говорила Онегину, что «муж в сраженьях изувечен», и я, грешная, думала – а что, коли увечье мешает ему производить все те гадости, о которых говорила возмущенная Сашетт?

Странным образом то, что героини комедий в последние минуты спектакля мирились с женихами своими и, казалось, прямо со сцены ехали под венец, меня не раздражало. Комедия рисует нам идеальный мир, в котором добрые чувства торжествуют, а злые людишки исправляются, так отчего ж там не быть супружеству, дарующему радость вместо отвращения?

Но я отвлеклась. Сейчас мне следует припомнить все подробности, имевшие отношение к той запутанной цирковой истории.

Здание, которое возводили в Малом Верманском парке, было на самом деле не круглым, а многоугольным, и к нему примыкало другое, довольно длинное – не менее пятнадцати сажен. Работники трудились споро и за неделю подвели оба строения под крышу. Крыша многоугольного строения была конусообразной, парусиновой, и на ней водрузили флагшток. Близился день открытия нового увеселительного заведения, и воспитанницы мои уже спорили о нарядах, в которых пойдут на представление. Варвара Петровна ни с кем не спорила, а совершила налет на модные лавки и усадила девок мастерить новый преогромный чепец. Также я увидела у нее картонку с новехонькими накладными локонами, тоже привезенную из набега, и немалый веер, добытый из глубины комода.

Сама я никаких приготовлений не делала, потому что пленять женихов не собиралась. Обычная моя прическа проста – волосы разобраны на прямой ряд, с макушки две косы спускаются на уши в виде больших петель, никаких фальшивых кудрей и никаких оранжерей с цветами и фруктами. Я разве что позволила себе достать и освежить длинную шаль. Я не ношу ни драгоценностей, ни дорогих кружев, хотя по возрасту уже могла бы – это юным девушкам они не рекомендуются, а в двадцать семь лет можно себе позволить и более, чем нательный крестик.

Хитрые лицедеи знали, как привлечь к себе общее внимание. Накануне открытия своего балагана они совершили торжественный въезд в город. День был солнечный, в Верманском парке собралось немало народа, и целая толпа, состоящая из детей, нянек, гувернанток и гувернеров, с криком устремила к Александровской улице, по которой от триумфальных ворот двигалась к свежевыкрашенному в голубой цвет цирку длинная ослепительная кавалькада. Наездники надели самые яркие свои мундиры, дамы блистали фантастическими платьями пейзажников и фей, впереди же ехал господин, одетый на манер маршала Мюрата, который в войске Бонапарта был главным щеголем и мог нацепить на себя с полпуда лент, звезд, перевязей всех видов и золотого шитья. Мюрата видывал наш учитель танцев мусью Жюль, из тех пленных французов, что так и не собрались вернуться в свое отечество. Он умел не только говорить комплименты, но и отвадить девиц от того, что считал дурным вкусом. Сравнения с Мюратом однажды сподобилась наша старшая барышня – но ее решимости соблюдать простоту и скромность ненадолго хватило.

На голове у предводителя наездников была треуголка с преогромными султанами настоящих страусиных перьев, его пунцовый мундир сверкал эполетами размером чуть ли не со столовую тарелку, шитьем, большими пуговицами, что вспыхивали, как искры. Белый конь под ним выступал диковинным шагом, высоко задирая передние ноги. Вальдтрап коня был, я полагаю, из парчи и такой величины, что стелился по земле.

Заглядевшись на зрелище, я не сразу заметила, что обе мои девицы уже не стоят чинно, а залезли, как мальчишки, на перекладину ограды и машут платками красавцам-наездникам.

За обедом только и разговоров было, что о новом великолепном развлечении.

Затем началась суета – девки доделывали грандиозный чепец Варвары Петровны, выпускали швы ее выходного платья из серого атласа, утюжили платья барышень, а обе мои воспитанницы переругались из-за грозди фальшивого винограда вместе с листочками, которой каждая хотела украсить свою прическу. Наконец мы собрались и торжественно пошли в цирк: впереди Машенька и Катенька, за ними – Варвара Петровна, ведя за руку Николеньку, следом я с Васей, а замыкал шествие наш лакей Сидор. Конечно, можно было и карету заложить,

но Варвара Петровна рассудила так: экипажей у цирка будет превеликое множество, а идти нам – всего-то ничего, от Мельничной, где мы нанимаем квартиру, до цирка – не более пяти минут.

Она шагала передо мной сильно недовольная, что отправляется на представление без мужа. Ермолай Андреевич наотрез отказался смотреть лошадей и даже хороших наездников. Его допекал ревматизм, и он вправе был, вернувшись из присутствия, тут же лечь на диван, а не помазать голову, влезать в узкие туфли и сопровождать семейство Бог весть куда. При этом Ермолай Андреевич был далеко не самым худшим мужем – если бы я все же собралась замуж, то примерно такого человека желала бы видеть супругом своим: в годах, да и немалых, пережившего пору бурных страстей, неразговорчивого, но, тем не менее, следящего за новинками в литературе и театре.

– Только этого балагана сейчас нам недоставало! – возмущался он. – Когда того и жди возмущений в Курляндии! Когда по улицам ходят караулы! Когда, чего доброго, и в Риге смута начнется! Сколько от нас до Польши?

– Мало ли что делается в Польше? А я с твоими доченьками тут помираю от тоски! – отвечала Варвара Петровна, которая научилась, невзирая на изрядную разницу в возрасте, исправно перечить мужу. – Светской жизни из-за польского бунта почитай что не стало! На балы с Масленицы не зовут! А мне дела нет до польского бунта – я и без тебя, друг мой, дорогу до цирка найду!

Изнутри цирк был не так роскошен, как немецкий театр на Королевской улице, где даже бархатная обивка кресел была таких цветов, чтобы составить красивый фон для дамских платьев. Недавно сколоченные ложи были обтянуты дешевой тканью, которая, надо полагать, странствовала вместе с гимнастическим цирком по всей Европе. В них стояли недорогие стулья. Великолепие цирку придавали прекрасные туалеты дам, шляпки с цветами и лентами, а также обязательные для таких выходов букеты. Мы тоже имели с собой три букета – большой из розовых роз у Варвары Петровны и маленькие из белых роз у девиц.

Жаль лишь, что господ офицеров было мало – наши офицеры вместе с генерал-губернатором Матвеем Ивановичем Паленом и всей армией, как начался польский бунт, вышли из Риги и находились сейчас в Курляндии. Остались одни чиновники, служившие в присутствиях губернского управления, что спокон веку находилось в Рижском замке. Но молодежи среди них было немного – и это сильно удручало Варвару Петровну. Она страсть как хотела окружить наших девиц дивизией поклонников, чтобы далее события развивались в соответствии с поговоркой: дурак сватается – умному путь кажет.

Когда мы вошли, оказалось, что ложа наша находится во втором ярусе. Варвара Петровна очень рассердилась на Сидора, не сумевшего взять более подходящее место, но ее утешил Кудряшов, молодой человек из губернаторской канцелярии.

– Вот увидите, сударыня, через десять минут все дамы в первом ярусе вам позавидуют, – сказал он. – Когда лошади пойдут вскачь, опилки, которыми усыпан манеж, поднимутся в воздух и забьются им в нос. Опять же, не всем приятен запах потных животных.

И точно – хотя посреди манежа лежал ковер, но потом были сплошь опилки – и лежали они довольно толстым слоем.

В благодарность за утешение Варвара Петровна пригласила его в нашу ложу, хотя места там было мало. Три стула у барьера стали предметом целой баталии. Один несомненно принадлежал Варваре Петровне, но на два других претендовали Машенька с Катенькой и Вася с Николенькой. В конце концов мальчики вставили туда четвертый стул и поместились на нем вдвоем, хотя при этом платья барышень были совершенно измяты.

Мы с Кудряшовым без всякой суеты расположились выше и, я полагаю, видели манеж не хуже, чем семейство Варвары Петровны. Тут он указал мне и на другое преимущество –

цирк освещался четырьмя огромными люстрами, и наша ложа оказалась как раз между двумя из них, так что следы от сальных свеч нам не угрожали.

– Оно и видно, что мы живем в провинции, – сказал Кудряшов. – В Европе строят такие цирки, чтобы в них можно было и комедии показывать, со сценой, а внизу при нужде ставят кресла и образуется партер.

– Ах, сколько можно пресмыкаться перед этой вашей Европой! – воскликнула я.

– Коли так, что вы тут изволите делать, «Татьяна, русская душой»?

Цирк, сдаётся, не славянское изобретение, и в истории господина Карамзина не поминается! – парировал он.

Я хотела достойно ему ответить, но заиграл оркестр.

Перед занавесом вишневого бархата, с ламбрекеном, отделанным золотой бахромой, выстроилось восемь человек в коротких зеленых мундирчиках, и меж ними прошел и встал на середине манежа, у столба, подпиравшего купол, господин де Бах, одетый щегольски – в такой фрак, что нашим чиновникам и не снился, с драгоценной булавкой в узле галстука и с дорогими перстнями на руках.

Теперь я могла разглядеть его лучше, чем в кавалькаде. Лет ему было около пятидесяти, но лицо он имел округлое и свежее, брови густые и черные, глаза большие и выразительные, волосы его, довольно коротко подстриженные, лишь едва были тронуты сединой. Станом, как у него, мог бы гордиться любой молодой офицер. Он держался с грацией и самоуверенностью завсегдатая столичных салонов.

Дав оркестру знак завершать увертюру, де Бах по-немецки обратился к почтенной публике, среди которой я увидела много военных. Он нижайше благодарил за внимание и обещал прекрасное зрелище. Голос у него был громкий и хорошо поставленный – а может, здание было выстроено с тем расчетом, чтобы речь, произносимую на манеже, слышно было в самых отдаленных уголках.

Из этой речи я узнала, что господин де Бах привел превосходно вышколенных лошадей липпицианской породы, которых до сих пор в нашей глуши не видано, и эти лошади покажут нам Венскую высшую школу верховой езды, которую на животных иной конской породы осуществить невозможно. Звучало все это высокопарно и чересчур многозначительно – как будто в мире нет ничего важнее лошадиных экзерсисов, а кунстберейтор, сидящий в седле, выше особ королевской крови! Но публике понравилось – и даже несколько букетов слетело к ногам статного господина де Баха. Два мальчика в зеленых мундирах с золотым шитьем побежали и подобрали букеты, а господин цирковой директор стоял, как монумент, воздев вверх обе руки в перчатках цвета слоновой кости и медленно поворачиваясь вправо и влево с очаровательной улыбкой, как если бы выпрашивал еще цветов.

Ах, я иногда бываю чересчур зла... Татьяна просто не обратила бы внимания на этот призывный жест директорских рук, а я вот обратила. Надобно научиться не видеть низменного, сказала я себе, и не искать низменное там, где его нет. И, наоборот, нужно учиться видеть прекрасное не только в розовых букетах.

Зачем только я вздумала искать прекрасное!..

Господин де Бах ушел, а у столба засуетились ловкие юноши в зеленых мундирах. Оказалось, он неспроста украшен алыми лентами – четверо этих нарядных прислужников отцепили концы лент, разбежались, вскочили на невысокий барьер и ленты свои натянули, так что получилась крестообразная фигура. Оркестр заиграл польку, бархатный занавес раздвинулся, и на манеж вышла невысокая белая лошадка.

Вместо седла на лошадке было устроено нечто на манер помоста, и на этом помосте стояла белокурая девица лет тринадцати или четырнадцати, в короткой юбочке, едва закрывавшей колени. Тут мужская часть публики просто воспряла духом. Я никогда не могла понять, отчего

зрелище обнаженных ног лишает мужчин всякого рассудка. Девочка была одета пейзажкой – в хорошенькой расшитой рубашечке, в корсаже и фартуке, с множеством лент в волосах.

Белая лошадка, удивительно принаравливаясь к музыке, побежала по кругу, и наездница перескочила через все четыре натянутые ленты.

– А я знаю, о чем вы думаете, мисс Бетти, – сказал Кудряшов. – Вы сердитесь, что девица одета чересчур вольно. И возмущаетесь ее мастерством лишь потому, что все сие нельзя проделывать в длинном русском сарафане.

– До чего же вы несносны, – отвечала я. И подумала, что умнее и для души полезнее было бы остаться дома и читать прекрасные «Повести Белкина», в которых никто не бегаёт с голыми коленками.

Девица сделала три круга и развернула свою лошадку хвостом к занавесу. Она делала реверансы, вымогая цветов и рукоплесканий примерно так же, как цирковой директор. Потом ей подали длинную цветочную гирлянду, и она совершила круг, прыгая через эту гирлянду, как дети через веревочку.

Меж тем юноши в мундирах смотали алые ленты и прикрепили к столбу нечто вроде широких ковровых дорожек, скакать через которые было труднее. Я заметила, что они втихомолку помогают наезднице, опуская дорожки. Потом и дорожки свернули, а принесли обручи, заклеенные тонкой белой бумагой, и девица прыгала в них, разрывая бумагу ногами. Все это вызвало восторг детей и пожилых господ – при таких прыжках юбка артистки порядочно задиралась.

Наконец девица убралась с манежа, а толстый господин во фраке со звездой, но при этом с длинным бичом в руке, зычно объявил, что это была мадемуазель Кларисса.

Юноши в зеленых мундирчиках выбежали на манеж с лопатами и граблями – очищать от опилок ковер и заравнивать их слой вдоль барьера. Среди них затесался простак в мундире с чужого плеча, и плечо было втрое шире обычного человеческого. Этот нелепый толстячок путался у всех в ногах, пытаясь помочь и вздымая облака опилок, пока его метлой не прогнали прочь.

Собственно, этих двоих я и запомнила – девочку, очень старательную и забывавшую улыбаться, и простака в огромном мундире. Все остальное пронеслось мимо меня, хотя было на свой лад занимательно, а иное и страшно – человек, подбрасывавший и ловивший шесть зажженных факелов, мог устроить в цирке настоящий пожар. Еще я невольно задумалась, откуда на верхней галерее так много цветов. Ее заполнил простой люд, который, может, и принес букеты, но не в таком же количестве! А цветы летели главным образом оттуда – немногие дамы в ложах расставались со своими дорогими, со вкусом составленными букетами, тем более что там еще были и серебряные портбукеты – не жертвовать же их наездникам!

Я сказала незадолго до антракта об этом сообщении Кудряшову. И добавила, что пока ничего особого в представлении не нахожу.

– Оно еще, по сути, и не начиналось, мисс Бетти. Липпицианов приберегают на сладкое, – отвечал он.

– Что вы можете знать о лошадях? – спросила я.

– Ни в гусарах, ни в уланах, ни даже в артиллерии не служил, мисс Бетти. Лошадь для меня – неизбежный придаток к экипажу. Но про липпицианов де Баха весь Рижский замок знает. Не сумею поговорить о них в канцелярии – то же, что у вас в гостиной, мисс Бетти, расписаться в незнании пушкинского «Онегина».

– Сколько раз я просила не называть меня мисс Бетти! – воскликнула я чересчур громко, и тут заголосили трубы.

– Любимец публики итальянской, парижской, венской и Санкт-Петербургской Лучиано Гверра покажет вам, дамы и господа, что есть жизнь конного солдата! – объявил толстый господин во фраке и с бичом.

Оркестр заиграл нечто на манер военного марша, и на манеж выехал бородатый господин самого жалкого вида, в широких и длинных, ободранных по краям панталонах, большой пятнистой куртке с медными пуговицами, шляпе с поникшими полями и с узлом на палке – одним словом, бродяга бродягой. Он озирался по сторонам, словно удивляясь, как это он угодил в столь блестящее общество, и озадаченно чесал в затылке.

Толстяк во фраке подстегнул его гнедую лошадь, она пошла сперва рысью, затем укороченным галопом. Бородатый чудак вскочил ногами на седло и завертелся на нем, прикладывая ладонь ко лбу и озирая несуществующие окрестности. При этом он не забывал смешить публику – то шлепнется на седло, растопырив ноги в огромных деревянных башмаках, то опять вскочит. Пока он так колобродил, юноши в зеленых мундирах вынесли и прислонили к столбу немало всякого добра, но сделали это очень быстро и загородили собой.

Мелодия сменилась, грянули литавры – и бродяга завертелся на бегущей лошади, словно бы в вихре огненных языков, а когда мнимый огонь опал – оказалось, что он стоит, как солдат на часах, в высоких сапогах, белых лосинах, мундире и кивере. Борода тоже куда-то пропала, а в руках у наездника было ружье с примкнутым штыком, которое ему бросили с середины манежа. Он стал показывать все солдатские эволюции с ружьем – и это на полном скаку! Мелодия опять сменилась – судя по грому барабанов, началась война, и солдат отправился в бой. Бой для него состоял во всевозможных прыжках, и более того – были растянуты ленты над манежем, и лошадь тоже совершала прыжки, довольно высокие.

Наконец в оркестре бухнул барабан – сие означало, что наездника смертельно ранили. Он схватился за грудь, зашатался и рухнул на конскую спину, зацепившись ногой за незримый для всех крюк и повиснув вниз головой. Чертя рукой по взбитым опилкам, он проехал еще один круг – и вновь затрубили трубы. С непостижимой ловкостью покойник взмыл вверх, сорвал с себя кивер, мундир, все солдатские доспехи – и явился в образе античного божества в хитоне, с крыльями и трубой у губ. Это был, очевидно, гений Славы... но мне уж стало не до античной мифологии...

Стоя в балетном арабеске, по кругу летело дивное существо, чернокудрое, с огромными черными глазами, с вдохновенным прекрасным лицом. Ничего подобного я в жизни не встречала! Музыка гремела так, что я едва не лишилась рассудка. Дождь цветов летел с галереи и из лож. Мужчины кричали: «Браво! Браво, Гверра!»

Второй ярус лож был поставлен так, что человек, там сидящий, мог смотреть наезднику, галопировавшему стоя, глаза в глаза. Злая шутка судьбы – наши глаза встретились...

Моя душа неслась, захлебываясь встречным ветром, по какому-то незримому кругу вдали от тела, неслась, не осознавая пространства вокруг себя и погружаясь с каждым устремленным ввысь витком все более в черные, широко распахнутые, прекрасные глаза.

Если бы мне рассказали, что такое возможно, я отвечала бы одним словом:

– Безумие!..

Глава вторая

Рассказывает Алексей Сурков

Хотя я до скончания дней моих не собирался возвращаться в Ригу, судьба распорядилась так, что я покинул свою прекрасную квартиру в Кронштадте и в сопровождении преданного моего Тимофея Свечкина, который за долгие годы стал мне почти другом, отправился исполнять комиссию моей драгоценной bestолковой сестрицы.

Вообразите себе наседку, окруженную подростками цыплятами, уже довольно бойкими, чтобы носиться по всему двору, и вы получите сестрицу мою. Однако наседка выгодно от нее отличается тем, что умеет призвать к порядку свое потомство, и пернатые озорники по приказу покорно собираются вокруг нее. А сестрица никогда не умела навести порядок в собственном доме, да у нее и времени на то не было – все рожала и рожала.

Когда я прибыл к ней, она вышла мне навстречу, рыдающая, держа на руках младенца, моего самого младшего племянника, а за подол ее держался другой младенец, полугодовалый.

– Отчего носишь ты дитя на руках? – спросил я. – У тебя же есть колясочка, которую я усовершенствовал.

Сестрица уставилась на меня, словно не понимая, о чем я ей толкую.

Говорят, нынче появились господа литераторы, которые восторгаются таким типом замужней женщины: вместо нарядов – заношенный шлафрок с помятым чепчиком, от былых знаний и умений не осталось ровно ничего, помышление лишь о кашке для младенцев да о пеленке с желтым, вместо зеленого, пятном. Я бы поселил их под одним кровом с моей сестрицей – и если бы они более суток выдержали вопли двенадцати моих племянников и смрад, идущий с кухни, где подгорает каша в котле, мало чем поменьше полкового, да кипятят в другом котле пресловутые пеленки, я бы выплатил им премию в тысячу рублей!

Наконец я выяснил, что стряслось, но не ужаснулся, а расхохотался. Иначе и быть не могло.

Сестрица моя, госпожа Каневская, как ты, читатель, уже догадался, замужем, и замужество это можно почесть счастливым: двенадцать отпрысков, не шутка! Одна беда – супруг ее, господин Каневский, существо самого хрупкого здоровья, оттого и в армии не служил. Это случается, когда младенцев держат в тепле и не приучают их к холодному воздуху. Я неоднократно говорил о том сестрице, приводя в пример графа Александра Васильевича Суворова, но в ответ слышал одно: своих заводи, их и обливай ледяной водой!

Дети в этом доме растут избалованные, маменька – главная им потатчица, вот и случилась неприятность: племянник Ваня, четырнадцати лет от роду, мечтавший пойти в гусары, сбежал из-под родительского крова. Казалось бы, радоваться надо, что юноша избавился от присмотра оголтелой наседки, которая, дай ей волю, его запеленает и тремя меховыми одеялами укутает. Я так сестрице и сказал, присовокупив, что если Ваня полюбился полковому начальству и его решено оставить, то пальцем не шевельну ради его водворения в детскую!

– И чего бы не полюбиться? – спросил я. – Дитя у тебя, к счастью, выросло отменное, а в седле сидит почище гусарского ротмистра или донского казака. Лучше бы, конечно, Ваня вздумал служить во флоте, ну да и гусары – тоже ничего, сойдет...

Касательно флота – каюсь, мой недосмотр. Слишком мало времени я провел с племянником и не успел его увлечь своими морскими историями, которых за годы службы накопилось – хоть отбавляй. А в родне у господина Каневского – два ахтырца и один изюмец. Как соберутся да как начнут двенадцатый год вспоминать – то и выходит, что они втроем более французов порешили, чем их во всей Бонапартовой армии имелось.

Мне тоже есть что порассказать о двенадцатом годе, но всему – свой час.

– У тебя бесчувственная душа! – объявила сестрица, продолжая рыдать.

– Зато у тебя больно чувствительная. С этим вашим русским безалаберным воспитанием, когда дитя до десяти лет водят на помочах, а к шестнадцати отставной солдат обучает его четырем правилам арифметики...

– Молчи! Молчи, Христа ради! – закричала она. – Своих заведи, бобыль неприкаянный! И учи их хоть на китайский лад!

Мы чуть было не разругались в пух и прах, но тут появился господин Каневский и увел меня в кабинет.

Мой зять – из тех маленьких, взъерошенных, вдохновенных чудаков, что до рассвета читают творения Адама Смита, преважно рассуждают о государственных финансах и пишут статьи об усовершенствованиях в крестьянском труде для господ помещиков, сами же не отличат ржаного колоса от ячменного. Но есть в нем хорошее качество – он знает, что дедовские заветы в наш сумбурный век малость устарели, и примеров для подражания ищет в Европе. На этой почве мы и сошлись – я тоже полагаю, что нужно следовать за тем, кто тебя во всем опережает, а не топтаться на месте, тоскуя о благостных временах государя Алексея Михайловича.

– Ты же понимаешь, братец, что Ване в полку будет лучше, чем дома, да и для карьеры оно полезно – начинать службу смолоду, – сказал я ему. – Так что угомоним вместе сестрицу и порадуемся, что хоть кто-то из вашего семейства вырвался из-под ее опеки.

– Кабы в полк...

– А куда ж еще может бежать из дому юноша в четырнадцать лет?

– Так ты, братец, еще не знаешь всей беды... Ты ходил смотреть гимнастический цирк господина де Баха?

– Что смотреть?! Что оно такое – «гимнастический цирк»? Цирки были в Древнем Риме, вон у нас на Фонтанке деревянный...

– Ну а это тебе странствующий цирк из Вены.

– Как цирк может странствовать?!

Тут мы устали друг на друга круглыми глазами.

Меня удивить трудно. Обычно я невозмутим, как положено истинному англomanу и джентльмену. Однако странные речи Каневского меня сильно озадачили. И он, кряхтя и охая, растолковал мне, что речь идет не о круглом здании, а о компании штукарей, которые со своими лошадьми ездят по городам и показывают за деньги мастерство вольтижировки. А назвали они свое общество «цирком» – для чего-то им это понадобилось...

– Так это ж балаганщики, – понял я. – Так бы сразу и сказал.

– Какое там балаганщики! Они в Симеоновском цирке самую знатную публику собирали! Вся наша кавалерия к ним ходила, как на учения! Они привезли породистых лошадей, отлично вышколенных, и показывали сущие чудеса – чуть ли не стоя на голове галопировали, вот те крест! Нет, ты точно не ходил смотреть?

– Лошади меня не интересуют, знаешь сам.

– А хорошенькие наездницы?

– Оставь дурачества и скажи наконец, какое отношение имеет Ванино бегство к конным штукарям.

– Самое прямое, брат, – сдается, он вместе с этими венцами из Питера уехал, – понурившись, сообщил Каневский.

– Ого! – воскликнул я. – Да это ни в какие ворота не лезет!

– То-то и оно... Сами в отчаянии...

– А может, все-таки в полк?

Я, прямо скажу, сестрице с ее супругом не поверил, уж больно они оба бестолковы. Ну как юноша из хорошей семьи может сбежать вместе с бродячими балаганщиками? Но, зная их воспитательную методику, я мог бы не тратить время на дознание и сразу поверить Каневскому на слово.

Когда треклятый «гимнастический цирк» прибыл к Пасхе и стал давать на Святой седмице представления, сестрица собралась с духом, принарядилась и, взяв с собой супруга и старшеньких, отправилась в желтое здание поблизости от Михайловского замка. Оно доподлинно желтое, с белыми карнизами, я видел его, проезжая мимо, но зайти как-то не сподобился. Да и что радости моряку в лошадях, пусть даже самых распородистых? Я полагаю, что будущее – за иными средствами передвижения.

Цивилизованная Британия и тут будет впереди сонной и ленивой России. Чуть ли не тридцать лет назад мистер Тревитик приспособил паровой двигатель к тому, чтобы таскать грузы по чугунным рельсам, а совсем недавно мистер Стефенсон построил целый экипаж на паровом ходу и заключил пари, что обгонит на своем экипаже самую резвую лошадь. А это, милостивые государи, тридцать верст в час – немудрено, что соплеменники ему не поверили. Однако ж его экипаж достиг скорости в пятьдесят шесть верст – то-то у критиков рты поразевались! Надо полагать, теперь и у нас государь велит строить нечто подобное. Но только непонятно – как же дышать при такой скорости? Диво, что англичанин, управлявший паровым экипажем, не задохнулся.

Первоначальная логика сестрицы мне была ясна – у нее две дочки уже на выданье, а в Симеоновский цирк понабежали молодые офицеры – смотреть на выездку и причудливые конские прыжки. С последующей логикой дело обстояло сложнее – ну, дважды, ну, трижды семейство посетило представление, но когда Ваня пристрастился к зрелищу, его стали отпускать в сопровождении дядьки Михалыча ничтоже сумяшеся, со всей безалаберностью – чем бы дитя ни тешилось... Строго допрошенный Михалыч сознался, что дитя свело знакомство с кем-то из закулисного люда, ходило смотреть лошадей в стойлах, делало очень разумные вопросы об их содержании и статях. Означало ли сие, что Ваня, прознав заранее, когда и куда отправляется «гимнастический цирк» из столицы, увязался за ним?

Я велел позвать Михалыча и сам стал задавать ему вопросы. Чем более я от него слышал, тем менее нравилось мне положение дел. Я корил себя за то, что мало занимался Ваней. Мальчишкам непременно нужно испытывать свои силы и ловкость. Будь я сообразительнее – он лазил бы по вантам и учился править яхтой с таким же азартом, с каким занимался вольтижировкой. Для чего гусару скакать верхом, стоя на седле на четвереньках? Какой в этом прок? А Ваня вот выучился, и ездить задом наперед наловчился, и еще какие-то штуки проделывать. Я еще понимаю, езда без стремян и седла либо прыжок в седло без того, чтобы вдеть ногу в стремя... но на четвереньках?..

– Сам-то ты братец, видел, что вытворяют эти конные штукари? – спросил я Каневского.

– Видел. Уму непостижимо, для чего все это надобно, – отвечал он.

– Они проделывают штуку под названием «Римская почта». Ты полагаешь, речь о доставке послания, пусть хоть из одной ложи в другую? Выезжает долговязый детина, стоя на двух лошадях, одна нога на одном седле, другая – на другом. Лошади бегут по кругу и понемногу расходятся в стороны, так что ноги у детины разъезжаются, а сам он делается вроде арки, под которой пробегает сперва одна лошадь, а потом и две. И потом на плечи ему взбирается дитя и становится ногами на голову. Так они и скачут.

У меня глаза на лоб полезли. Я не поверил Каневскому, и тогда он, взяв карандаш, нарисовал кое-как эту страшную «Римскую почту».

– Но при чем тут Рим? О почте уж молчу! – воскликнул я.

– При том, что на детине – что-то вроде греческого хитона по колено. Не в штанах же проделывать такие телодвижения! Разве что в казацких шароварах, – отвечал зять, выдывавший казаков только на картинке.

– А под хитоном?

– А черт его знает! – вдруг завопил Каневский. – Слушай, Алексей, Христом-Богом прошу – выручай! Ты человек военный, ты знаешь, как оно все делается! Я не могу! Я в полицию пойду – и что мне там скажут? Скажут – езжайте сами вдогон своему недорослю! И куда я поеду?! Я понятия не имею – как ехать, на чем ехать! Там же подорожную надобно выправлять! А потом – другой город, другие нравы! Гостиницу искать, в корчме какой-нибудь комнату снимать! А мой желудок?!.

И точно – вынутый из кабинета, мой зять более всего напоминал бы улитку без домика. Долее суток он бы не продержался – настолько разбаловала его любезная сестрица.

– Ладно, не взывай, – сказал я. – Что-нибудь придумаю.

А что тут можно было придумать. Я отрядил Свечкина в Симеоновский цирк – свести знакомство со сторожами, дворниками, или кто там состоит на службе. Я выдал ему денег на соблазнение сторожей и дворников. Не самому же пить с ними пиво, закусывая расстегаем.

Он пропал на Фонтанке целое утро. Когда вернулся, доложил: точно, был цирк господина де Баха; был и уплыл.

– Как это уплыл?!

В голове моей слово «цирк» по-прежнему означало каменное или деревянное строение. Конечно, у нас, когда Нева разгуляется, и дома плавают, и сараи, но чтобы цирк – этого я вообразить еще не мог. Тимофей объяснил: штукари отправились показывать свое искусство в Ригу; до Риги шестьсот верст, а лошади у де Баха балованные, да их и надо беречь – они его кормят; если добираться морем, то так на так и выйдет, а лошади не повредят своих драгоценных ножек.

Узнал он также, отчего Ване мало манежных лошадей, на которых тоже можно прекрасно ездить и стоя, и лежа, и на карачках, а нужны именно цирковые.

– У господина де Баха кони особенные, называются липпицианы, – сказал Тимофей. – Других таких нет – их только в одном месте выводят, и штуки, что они могут проделать, иной лошади не под силу.

В том, что мой Тимофей легко запомнил и выговорил слово «липпицианы», удивительного нет – он, как и я, флотский, а там и не такие хитросочиненные штуки проходится запоминать и выговаривать.

Тимофей выполнил мое распоряжение наилучшим образом: я объяснил, о чем расспрашивать, он и расспросил! Натура моя, как я недавно понял, имеет две половины – русскую и европейскую. Русская, как ей и положено, оказалась задним умом крепка, и именно она диктовала Тимофею вопросы. Сказалась и моя неопытность в ведении следствия. А ведь стоило ему задать еще один, всем своим собеседникам поочередно, и мы привели бы это дело к развязке куда скорее и без совершенно лишних приключений!

– Стало быть, придется ехать за балбесом в Ригу. Хочешь в Ригу, Свечкин? – спросил я.

Он улыбнулся – немало у нас там в двенадцатом году было приключений.

Сборы у моряков, даже бывших моряков, недолгие. Пока укладывали баулы, возник у меня с Тимофеем спор: сушей ехать или плыть? Плыть, конечно, приятнее, но вряд ли Ваню взяли на судно, что везло коней в Ригу. Скорее всего, он туда добирался сушей – и мы можем изловить беглеца, даже не слишком далеко отъехав от столицы. Опять же, не каждый день отходит судно, идущее в Ригу; может, нам его еще неделю ожидать.

Я отправился к сестрице с вопросом, который мне самому казался очень неприятным. Я хотел знать, какие пропажи обнаружались в хозяйстве после Ваниного бегства. Рига – не Царское Село, туда более недели летом добираться, стало быть, племянник непременно прихва-

тил с собой денег либо ценные вещицы – не такой же он дураком, чтобы пускаться в дорогу с пустыми карманами.

В хозяйстве моей сестрицы черт ногу сломит – там может печка из гостиной пропасть, и это лишь к осени заметят. Ответа на свой вопрос я не дождался – или же ей было стыдно признаться, что юноша, получивший блестящее, как она считала, воспитание, унизился до воровства. Господин Каневский сказал по секрету, что, если бы она обнаружила пропажу в первые дни, шуму бы подняла много. А так – явилось, что он в чем по дому ходил – в том и скрылся. Вся его одежда была найдена в шкафу и в сундуках неприкосновенной.

Это была первая загадка в поисках Вани. Прочие разрешили те знакомцы, что имели связи в полковых казармах. В столице и ее окрестностях Ваня не появлялся. По всему выходило, что он все же убежал в Ригу вместе с венскими штукарями. Делать нечего – я выправил подорожную себе и своему человеку, попрощался с друзьями и отправился в Ригу на перекладных.

Я не слишком торопился, а по дороге расспрашивал всех, не проезжал ли четырнадцатилетний молодой человек, никем не сопровождаемый, и не пытался ли продавать дорогие вещицы из домашнего обихода (разиня-сестрица может и пропажу дорогого перстня с руки не заметить). До Нарвы мои расспросы еще имели какой-то смысл – и не только стационарные смотрители, но и посторонние люди охотно мне отвечали. Когда же оказался я в Эстляндских округах Лифляндской губернии, то ощущал себя, словно в Африке, – ни я кого понимал, ни меня кто понимал. Только в Дерпте встретил я собеседников. Дерпт мне понравился, к тому же я повстречал там немало лифляндских дворян, приехавших из Риги. Как русский помещик норовит на зиму перебраться с чадами и домочадцами в столицу, так рижский лифляндский дворянин на зиму переезжает в Дерпт из соображений самых экономических. И не потому лишь, что Дерпт – чистый и благоустроенный город на западный образец, а Рига никак не опомнится после диких рыцарских времен и, окруженная давно устаревшими валами и бастионами, имеет смутное понятие о гигиене. Лифляндское дворянство небогато и не может соперничать с купечеством, которое, как оно и должно быть в портовом городе, гребет деньги лопатой и ни в чем не делает себе отказа. Купеческая роскошь уязвляет дворян, и они бегут туда, где оказываются среди себе подобных.

За две станции от Дерпта начинались земли, где живут латыши. Я опять пытался задавать вопросы о Ване, и тут уж меня несколько понимали, но следов беглого племянника я не сыскал. Наконец я прибыл в Ригу, уже почти убежденный, что Ваня плыл на одном судне с лошадьми, если только он вообще отправился из дому вместе с цирком, а не убежал к дяде своему, ротмистру Ахтырского полка.

Город явственно напомнил мне молодость – военные, что проходили и проезжали по улицам, имели или чрезмерно-озабоченный, или чрезмерно-бесшабашный вид. Я и тогда не думал, и теперь не думаю, что Риге угрожала опасность, как в двенадцатом году, когда мы на канонерских лодках патрулировали Двину или неслись к Икскюлю, захваченному форсированными реку пруссаками. Взбаламутивший Европу Бонапарт уж десять лет как помер на острове Святой Елены. Шел тысяча восемьсот тридцать первый год – бунтовали поляки, а Рижский замок, резиденция генерал-губернатора, был как бы главным форпостом нашим перед Литвой и Польшей.

Собственно, и бунт уже приближался к концу – самым трудным для нас временем была зима, когда паны-ляхи додумались даже низложить государя Николая Павловича – лишить его польской короны. Их армия превысила сто тысяч человек, у нас же в западных губерниях были не боевые гарнизоны, а натуральные инвалидные команды. Да еще весной разгулялась холера – от нее скончался генерал-фельдмаршал Дибич, и ему на смену был направлен генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский. И все вроде бы вздохнули с облегчением – победа над бун-

товщиками казалась делом одного-двух месяцев. Но ощущалась и тревога – что еще могут вытворить мятежные паны и не поднесут ли какого сюрприза?

Оставив Тимофея с багажом на почте, я первым делом отправился в порт – искать старых знакомцев. Я нашел их, как и полагал, в портовой канцелярии, и они присоветовали мне, где снять комнату с чуланчиком для Тимофея. Останавливаться в крепости, в дорогой гостинице «Петербург» на Замковой площади, я не желал. Раз уж цирк господина де Баха разместился в предместье (об этом я догадался без посторонней помощи, помня тесноту Рижской крепости и узость улиц), то и мне следует селиться где-то поблизости.

– И до храма Божия рукой подать, – сказал мне старый канцелярист Штокенберг. – У нас уж лет пять как есть свой приходский храм, Александроневский, стоит на Александровской. Все, как у людей...

– И храм, и цирк, – заметил я.

– Да уж! Вся наша молодежь там живмя живет. Наездницы, юбочки по колению, так что даже у нас в канцелярии – истинное цветобесие. Идешь по Александровской – а тебе навстречу молодцы с букетиками, и флотские, и штатские!

Я торопиться не стал. Мы с Тимофеем устроились в комнатке на Гертрудинской улице и первым делом хорошенько выспались. А на следующий день пошли изучать пресловутый цирк снаружи.

Как я и предполагал, город после пожара двенадцатого года опомнился, разросся вширь, и в предместьях уже стояли дома куда более благоустроенные, чем в крепости. По дороге мы с большим любопытством разглядывали эти новые дома. Мне еще в портовой канцелярии рассказали, что они теперь возводятся по планам, начертанным петербургскими архитекторами, с фасадами четырех видов, а красят их в восемь колоров, тоже чуть ли не высочайше утвержденных. Мне как примерному англоману эти нововведения понравились.

Улицы в предместьях были теперь пусть и не так широки, как в столице, зато прямые и удобны для экипажей. Более того – дома получили номера, что было весьма удобно: пишешь на конверте по-европейски «улица такая-то, дом такой-то» и забот не знаешь, а не то что на старорусский лад «в улице такой-то, за колокольней вправо поворота, у большой лужи, в бывшем доме купчихи Расторгуевой».

Строение цирка оказалось не маленькое – сажень пятнадцати в поперечнике, на мой взгляд, и высотой с трехэтажный дом – если вместе с парусиновым куполом. Невзирая на утреннее время, у входа стояли кареты, у коновязи – лошади.

Я знал, что наши молодые и даже пожилые театроманы любят по-свойски приезжать на репетиции, щеголяя знакомством с хорошенькими актрисами. Довольно было двух недель, чтобы в Риге завелись циркоманы! Но нельзя прийти на репетицию без согласия театрального директора. Очевидно, господин де Бах таких гостей привечает. Стало быть, высоко себя ставит, подумал я, коли ему необходимо светское общество.

– Ну, друг мой Свечкин, давай решать, – обратился я к Тимофею. – Можно прямо явиться к этому венцу и попросить его о содействии. Коли Ваня пристроился к его компании, он может снизойти к слезам безутешной матери и выдать нам беглеца.

– Нет, барин, не выдаст, – возразил Тимофей. – Парнишка, может, ему самому надобен. Только стыда нахлебаются. А коли его там нет? Тем стыднее выйдет.

Я задумался. Вся эта история казалась странной – Ваня не дурак, чтобы из дому убежать, не взяв ни копейки денег; неужто де Бах так пленился его талантами, что взял его на полный пансион? Коли так – и точно не отдаст...

– Тогда я вижу другой путь, – сказал я. – Вечером мы вместе сходим поглядеть на это зрелище. Мы поймем, что это такое, а тогда уж ты наутро пойдешь в каботажное плавание вокруг конюшен. Может,образишь такого же штукаря, желающего наняться в почтенное заведение...

– Да какой из меня штукарь?! – возмутился Свечкин. – Я к лошади и близко не подойду!
– Там не только лошади, я полагаю. Давай сперва совершим рейд на передовую и поглядим на врага нашего лицом к лицу.

Взять ложу я и не пытался. Мы с Тимофеем отправились на галерею, причем явились пораньше, чтобы занять лучшие места.

Я пытался понять, где обретается Ваня. Может статься, его взяли до поры до времени каким-нибудь помощником конюха; не исключено, что он уже выходит на манеж. О компании де Баха я имел самое темное представление и полагал, будто это – те же балаганные штукари, только на дорогах лошадях и одеты побогаче. Мастерство их меня озадачило – это ж сколько времени нужно потратить, чтобы научиться так ездить верхом и так вышколить лошадей? Сам господин де Бах, надо сказать, произвел на меня наилучшее впечатление, когда в великолепном мундире вывел в манеж шестерку белых коней и заставил их танцевать под музыку, казалось, без всякого понуждения с его стороны. Это и были знаменитые липпицианы – кони, от природы имеющие высокий шаг и способность красиво держать голову на изогнутой шее, почти как рысаки графа Орлова – точнее, та ветвь орловской породы, что была выведена для утехи нашего купечества, желающего, чтобы лошадь была в теле.

Но они не только танцевали – они по незримым сигналам проделывали диковинные прыжки. Я полагал, что лошадь на такое не способна, а разве только австралийский кенгуру. И дивно было видеть крошечных легоньких наездников, чуть ли не десятилетних мальчиков, которые сидели в седле цепко, как мартышки. Я подумал – Ваня уродился в папеньку, ростом невелик, так не за это ли качество его взяли?

Разумеется, там были и другие искусники. Одна их штука заставила нас с Тимофеем переглянуться. Ближе к концу представления штукари затеяли прыготною – вся мужская часть труппы, взбега по доске, поставленной наклонно, отталкивалась ногами и совершала в воздухе кувырок на лету. Публика награждала громкими криками того, что взлетал выше прочих и приземлялся без посторонней помощи. Сперва они прыгали без затей, потом на манеж выбежало человек поболее дюжины, одетых солдатами неведомой армии, в киверах и с ружьями. Они выстроились в две шеренги, лицом к лицу, а между шеренгами поместились еще две, в которых стрелки опустили на одно колено, также лицом к лицу. После чего прыжки сопрождались холостыми залпами, и отчаянный прыгун вылетал из клубов порохового дыма.

– Вот то, что нам надобно! – крикнул я Свечкину.

Он понял с полуслова.

Мое кронштадское жилище представляет собой гибрид (помесь, коли кто держится за древнерусскую речь с упорством господина Шишкова) мастерской и библиотеки. Я полагаю, что материальный мир для того и создан, чтобы его можно было совершенствовать. В этом отношении нам еще далеко до господ англичан. Взять те же дилижансы. В Британии на них уже давно разъезжают – в двенадцатом году, когда мы, придя на оборону Риги, подружались с английскими офицерами, они нам много чего понарасказывали, и про дилижансы тоже. У нас лишь десять лет назад появилось первое дилижансное общество и устроило один-единственный маршрут: от Москвы до Санкт-Петербурга. Ехать, правда, неудобно – негде прилечь, так и спишь сидя, это тебе не покойный дормез! Зато из одной столицы в другую попадаешь всего за четверо суток. Ходил бы дилижанс между Санкт-Петербургом и Ригой – за то же время нас бы довезли. Но общество совершило подвиг – и задумалось, и когда очнется, чтобы связать столицы с какими-то еще городами, – неведомо.

Но я давно убедился, что нужно жить с девизом: делай, что должен, и будь что будет! Господь даровал мне способность придумывать всякие усовершенствования. Грех зарывать талант в землю, даже если общество к моим изобретениям еще не готово. Уж если гениальные выдумки великого нашего Ломоносова всерьез не принимали, то мне-то что говорить? Но я не унимаюсь – вон оконные рамы нового образца изобрел, которые не растворяются, а вокруг

своей оси поворачиваются. Правда, сам еще не совсем понял, для чего это нужно, однако два окошка ими уже оснастил.

Так вот, когда я увидел, как отталкиваются от нелепой подножки и делают прыжки штукари господина де Баха, то тут же догадался: подножка должна быть более упругой, тогда и полет будет выше, и кувырков в воздухе можно сделать поболее. Тимофей уловил мою мысль, и больше нам в цирке делать было нечего. Мы помчались домой, чтобы обсудить, как это сделать.

Всякий моряк, ходивший в дальнее плавание, а я побывал в Средиземном море с эскадрой Дмитрия Николаевича Сенявина, тогда еще вице-адмирала, хоть как, а разбирается в древесине. Я же, пристрастившись ко всяким любопытным самоделкам, свел дружбу с корабельными плотниками. Первым нашим детищем стал селерифер, который они изготовили по моим рисункам. Селериферы я видел у англичан, которым они служили развлечением, и, грешен, пожелал смастерить такое же изделие и поглядеть, не будет ли от него пользы и в военном деле. Пользы не оказалось – один вред и множество синих пятен, которые я себе понаставил, катаясь на доске, оснащенной спереди и сзади колесами от брочки и не имеющей даже подобия руля.

Но кое-чему я все же научился.

Покидая цирк, я велел Тимофею отодрать от стенки афишу, на которой как раз и был изображен кувырок в пороховом дыму. Он раздобыл клочок, но именно тот клочок, что был нам нужен, – с подставкой для прыжков. И мы, наскоро поужинав чаем с большими немецкими бутербродами, по-братски уселись изобретать упругую подножку. Сперва мы нарисовали дорожку в виде длинной и гибкой доски, наподобие той, что у русских качелей, которые до сих пор обожают в Москве. Человек, бегущий по такой доске, положенной одним концом на козлы, может воспользоваться ее прогибанием и подпрыгнуть очень высоко. Но, как заметил Тимофей, для этого он не должен добежать до самого края. Беда невелика – но мы оба уже были отравлены красотой механических решений.

Прыгун должен был оттолкнуться на самом краю подставки – и около полуночи меня осенило. Сейчас служители де Баха ставили доску одним краем на козлы в виде какого-то деревянного чемодана. Но что, если придать упругость именно козлам? Я нарисовал две подставки и поперек них шест длиной в два аршина. Этот шест следовало изготовить из гибкого дерева, а уж на него положить одним краем доску. Когда я уяснил себе это – возгордился неимоверно. Ведь старые мои друзья и родня не устают подшучивать над моими механическими талантами. Ан глядь – и пригодились!

– Ишь, барин, как это вы ловко... – с некоторой завистью молвил Свечкин. Это было для меня лучшей похвалой – ему ведь не угодить. И всякий раз, когда мое изобретение оказывается мертворожденным, этот враг рода человеческого бормочет, разбирая мою неудачу на составные элементы:

– Жениться вам, барин, надо...

Но Тимофеева восхищения ненадолго хватило. Он вдруг стал доказывать, что шест должен быть не в два, а в целых три аршина или даже еще длиннее. Чтоб уж прогнулся до земли – и вознес прыгуна под самый купол.

– Дурья твоя голова, – сказал я ему, – а каково ему из-под купола вниз лететь? Его же вшестером ловить придется! Или сбегать в порт за парусом, парус растянуть.

Потом мы решили, что шесту следует быть из еловой или сосновой древесины. Оба мы знали, какова она в деле, еще по двенадцатому году, когда срочно строились новые канонерские лодки без малейшего помышления, продержатся ли они хоть год. Наконец мы уж до того додумались, что мастеров найдем в порту, они же снабдят нас древесиной. И чуть было у нас не дошло до испытания нашего изобретения в укромном месте, когда мы наконец опомнились: на кой черт нам это изобретение в его натуральном виде, когда нужен всего лишь замысел, с которым можно прийти к господину де Баху?

– Завтра, Свечкин, ты сходишь и купишь мне маленькую готовальню, – сказал я.
– Готовальня у нас есть, – отвечал Тимофей. – Я ее первым делом в баул уложил.

В его голосе был упрек: как это я смел подумать, что он не потащит в дорогу мою готовальню? А во взоре было обещание: да если ты, барин, помереть изволишь во благовремение, я эту черную коробку и в гроб к тебе уложу, в изголовье, дабы и на том свете сподручно было планы чертить.

Линейки, циркули, карандаши и бумага явились на свет, я взялся за работу. Казалось бы, долго ли изобразить эту простейшую конструкцию? Но Тимофей все время что-то подсказывал, я отвлекался. Одно он, впрочем, заметил верно – шест в поперечнике должен быть чуть поболее вершка, чтобы хорошо гнуться и не ломаться.

Мы решили, что Тимофею следует отправиться в разведку, побродить вокруг цирка. Оба мы с ним моряки, в лошадях почитай что не разбираемся, но мыслим логически: вряд ли их будут целыми днями держать в конюшне; для того и выбран для циркового здания парк, чтоб было где их поводить; аллеи, правда, коротки, но для проводки взад-вперед сгодятся. Если Ваня взят в компанию сперва хоть помощником конюха, то тут он и обнаружит свое присутствие. Но если его взяли для того, чтобы сразу учить ремеслу, то он может все время, что у нас гостит «гимнастический цирк», сидеть в нем безвылазно. Опять же – де Бах должен догадаться, что мальчика будут искать.

– И тогда я отправлюсь предлагать господину де Баху нашу подножку, – сказал я. – Может, еще и денег с него сдери побольше! Морская смекалка дорого стоит.

– А как вы, барин, с ним разговаривать собрались? – спросил Тимофей. Тут-то я и крикнул. Я мог недурно объясниться с немцем-булочником, но вести основательные переговоры было мне не под силу.

– Ах, жаль, нет с нами Морозова... – затосковал я о лучшем своем друге и родственнике, изрядном толмаче, который и турецкий знал, и новогреческий, а по-немецки трещал лучше самих немцев. – Придется, поди, просить Штокенберга. Он не откажет, да только как ему растолковать наш план?

Я имел в виду: что бы такое соврать канцеляристу, чтобы объяснить, какого черта я изобретаю подножки для штукарей, не касаясь при этом Ваниного побега. Велика Российская империя, а как зародится дурацкий слух – так и понесется по ней со скоростью пули, и вмиг распространится, и доставит кучу хлопот. Хорошее бы что так стремительно распространялось! Я не хотел позорить семейство Каневских: что подумают о родителях, чей сын сбежал не в полк и даже не во флот, а с бродячим балаганом?

– Утро вечера мудренее, барин, – утешил меня Свечкин. – Извольте в коечку.

Но утро, как нарочно, мудрости не принесло.

Тимофей разбудил меня спозаранку. Летом и без того светает рано, а он еще до восхода меня поднял – надо, видите ли, барину завтрак сервировать, прежде чем идти по барскому поручению.

Мой Свечкин был отставным матросом-инвалидом, его крепко контузило при Наварине, после чего он оказался на берегу в довольно жалком положении – ни родни, ни знакомцев. Я в память о прошлых совместных делах приютил его из милосердия – да и знал, что руки у него золотые. Тимофей полностью принял условия своего нового существования и стал звать меня барином, как если бы я не был еще несколько лет назад для него господином лейтенантом. Я несколько раз просил его звать меня по имени и отчеству – он не крепостной, не лакей, принят в дом, можно сказать, по-братски. Но его поди уломай!

А в барине что главное? Причуды!

Усвоив мою страсть ко всему британскому, Тимофей решил всячески ей потакать. И даже в Риге, в чужом городе, он первым делом умудрился раздобыть овса, чтобы приготовить мне

правильный английский завтрак. Овсяная каша и яичница с беконом – что может быть полезнее и питательнее? Потом он ушел искать все необходимое для задуманного маскарада.

Я подремал еще малость, встал окончательно, привел себя в божеский вид и отправился на прогулку. Я предполагал дойти до порта, еще поискать давних знакомцев, при возможности посетить и Рижский замок – не может быть, чтобы в канцелярии генерал-губернатора не осталось ветеранов, помнивших двенадцатый год. Стоило также заглянуть в Дворянское собрание.

На сей раз я шел неторопливо, а на Запковой площади вообще остановился на четверть часа, чтобы внимательно разглядеть колонну в честь нашей победы над Бонапартом. Она была, как мне потом сказали, из финского гранита, высотой в семь сажен, увенчанная большим шаром, а на том шаре стояла богиня победы с воздетым ввысь лавровым венком, словно бы ища, на кого его нахлобучить. Вокруг постамента колонны установили кованую ограду с восемью каменными столбами, украшена она была, как и следовало ожидать, бронзовыми орлами и цветочными гирляндами, на видном месте были наш двуглавый орел и герб Риги.

Понемногу я заново осваивался в городе и сообразил наконец, где мне следует искать полиглотов. В Московском форштадте обитало главным образом русское население, но те, кто желал учить детей не только чистописанию, арифметике и Закону Божию, частенько отдавали их в немецкие школы. Немецкий язык должен был способствовать карьере. Я даже вспомнил кое-каких знакомцев и решил их поискать.

Главной моей надеждой был Яков Ларионов. В двенадцатом году мой друг Морозов спас его от смерти. Тогда шалопай Яшка совершенно рассорился со своим семейством, но прошло столько времени – его суровый батюшка, скорее всего, давно отошел к праотцам, а Яшка унаследовал его лавки и сделался купцом.

Я неторопливо пошел к Карловским воротам. Выйдя из крепости, я оказался на речном берегу – и затосковал о невозвратной молодости. Мне вспомнились цепочки канонерских лодок, несущих вахту на фарватере, вспомнились шум и суета в порту, и хотя я не мог разглядеть издали остров Даленхольм, он явился пред моим взором в точности такой, каким был летом двенадцатого года, с белыми палатками и причалами для плотов, с вековым дубом, на вершине которого можно было разглядеть дозорного, со всей обстановкой военного лагеря.

Московский форштадт отстроился не хуже Петербургского. Я помнил его таким, как осенью двенадцатого года, – огромное пространство, утыканное одними закопченными печными трубами. Теперь же староверы, вернувшись, все расчистили, проложили новые широкие улицы, построили крепкие дома, нарожали детей. На улицах звучала русская речь – мне даже показалось, что я случайно заехал в Москву.

Да и как ей не звучать – сюда не одни только раскольники при царе Алексее Михайловиче бежали, не одни только православные купцы и промышленники тут селились. Наиглавнейшие огородники, трактирщики и хозяева бань тоже были русскими. А кто держал всю торговлю лесом, льном и зерном? Да наши же. И это еще что! В Лифляндию были сосланы после пугачевского бунта казаки, что воевали на стороне самозванца. Так самые бойкие из них ухитрились со временем перебраться в Московский форштадт, а уж их внуки были тут совсем свои.

В первой же лавке я спросил приказчика по-русски о семействе Ларионовых. И он тут же указал мне направление – дойдя до Благовещенского храма, который вот уж виден, поворотить направо и на первой же поперечной улице, Смоленской, спросить прохожих. Прохожие указали мне и жилище давнего знакомца, и склады на двинском берегу, ему принадлежащие. Зная, что староверы неохотно принимают православных в своих домах, я пошел к складам.

Яшка Ларионов и впрямь стал матерым купчиной, пополнел, даже в плечах раздался. Его воронье кудри тронула седина, однако голос был все так же звонок и переливчат.

– Да что за беда! – воскликнул он, когда я вкратце рассказал ему о Ванином побеге. – Дам тебе приказчика Гаврюшу, он лучше природного немца по-немецки чешет. Да он же еще там такое высмотрит, что тебе и не снилось! Он у меня бойкий!

Купчина позвал меня на следующий день обедать, но не домой, а в трактир. И я потихоньку отправился на Гертрудинскую.

Глава третья

Рассказывает мисс Бетти

Я уже миновала те годы, когда женщина не пытается разобраться в своих чувствах, а просто живет ими, и они ей заменяют рассудок. Я, слава Богу, дожила до двадцати семи лет, и мне доверяют воспитание взбалмошных девиц, зная, что я с ними управлюсь. К тому же склонность к идеалу всегда служила мне защитой от глупостей. Человек по имени Лучиано Гверра мог быть разве что героем французского романа, из тех, которые не стоит давать молодым девушкам. В обыденной жизни таким героям места нет.

Можно ли влюбиться в сон, в призрачное видение?

Задав себе этот вопрос, я ответила: и да и нет. Героиня романа этак влюбиться может. А девица, которая живет обычной жизнью, – нет. Хотя если девица склонна мечтать об идеалах, с нее станется...

Этот идеал в образе циркового наездника снился мне всю ночь!

Нет, конечно же я не пала так низко, чтобы влюбиться в него самым пошлым образом и домогаться его поцелуев! Просто случилось удивительное совпадение – именно таким я бы вообразила себе романтического героя из книжки, даже из стихов – если там возникал красавец Антиной или Парис с яблоком в руке. Ничего удивительного – каким бы еще должен был быть юноша, живущий на берегах Средиземного моря? Более того, говорила я себе, ведь Лучиано Гверра у себя на родине красавцем, скорее всего, не считался бы – там таких кудрявых черноглазых молодцов, наследников Августа и Цезаря, как у нас – белобрысых румяных детин, кося сажень в плечах.

Но наутро я была сама не своя, все у меня валилось из рук, и я обнаружила, что сижу бездумно и бессмысленно с книжкой на коленях, лишь когда мои драгоценные воспитанницы, забыв о поставленном перед ними натюрморте – букете анютиных глазок в вазочке наподобие амфоры, – стали шептаться уж чересчур громко. Менее всего их привлекала сейчас акварель – а более всего волновали красавцы-наездники. Они сравнивали того долговязого, что ездил, стоя ногами на двух лошадях разом, и красивого юношу, который выехал верхом на белом коне, правя при этом длинными вожжами еще и другим конем, который выступал впереди; оба коня танцевали в лад, и это называлось «тандем». Юноша был старший сын де Баха, Альберт, а средний и младший вольтижировали, очень ловко вертясь на конских спинах. Не обошлось и без воспоминаний о красавчике-итальянце.

То же самое творилось и с мальчиками. Но им еще понравился канатоходец с белыми веерами для равновесия. Притащить в дом лошадь было бы немислимо, но найти веревку они могли – и нашли. Мы узнали об этом по грохоту и громким рыданиям Николеньки. После чего я пошла к Варваре Петровне и напомнила ей, что на манеже был еще штукарь, кидавший вверх полдюжины тарелок и четыре горящих факела. Беда угрожала всей нашей посуде.

– Так что же делать, мисс Бетти? – спросила она меня. – Жить без посуды и есть руками, пока они не образумятся?

Порой Варвара Петровна мыслила хоть и разумно, да грубовато.

– Я полагаю, надо пообещать им другой поход в цирк, если будут вести себя примерно, – отвечала я. – Пусть внимательно разглядят штукаря с его затеями. А я им объясню, что это его ремесло, такое же, как ремесло сапожника. Вчера его кундштюки были для них феерическим праздником – так пусть станут исполнением ремесла, коли угодно.

– И кто же поведет их туда?

– С вашего позволения, я и поведу. Иначе от них спасу не будет.

Эта мысль пришла мне в голову внезапно – и очень мне самой понравилась. Она была логична – если мальчики, осознав, что штукать с итальянской фамилией Гримальди, но совершенно не похожий на потомка Цезарей и Брутов, кидает тарелки за деньги, каждый день и много лет подряд, так что ему это ремесло и самому надоело, угомонятся – точно так же и я, опять увидев наездника, изображающего солдата, пригляжусь внимательнее, увижу в нем обыкновенного итальянца, из тех, что ради заработка готовы заехать хоть в Лифляндию, – и тоже угомонюсь.

Мы отправили Сидора в цирк взять ложу, причем я нарочно попросила его о ложе в первом ярусе, чтобы Вася с Николенькой надыхались опилками и поняли, как неприятен труд штукаря.

Старый бездельник пробродил где-то битый час, явился и доложил, что все ложи выкуплены, а поскольку представления будут даваться трижды в неделю, то и придется нам малость обождать.

– Ах, как я устала от этой Риги! – воскликнула Варвара Петровна. И я ее понимала – вернее, поняла после того, как она как-то, затосковав о столице, принялась вспоминать балы, на которых танцевала еще девицею: это чинные полонезы и смехотворные котильоны, это томные стремительные вальсы и бешеные мазурки прежних времен, с топотом, грохотом и только что не присвистом. Здесь же для русских чиновников и их жен список развлечений был скуден, на балы в Дворянское собрание звали редко, Немецкий театр был им скучен, – дамы только по-французски несколько понимали, раз в кои веки приехал «гимнастический цирк» – и то туда уже не пробиться.

Согласитесь, даже самые замечательные домашние спектакли не заменят настоящего театрального представления, да еще на русском языке, с хорошими актерами. Я до сих пор вспоминаю «Замужнюю невесту» князя Шаховского, которую видела и в Москве, и в Санкт-Петербурге. А когда пытались мы поставить тут «Урок дочкам» Крылова, то я чуть рассудка не лишилась – барышни мои не рождены для сцены, и даже если вдруг заучат наизусть слова, то рапортуют, будто унтер-офицер на плацу. А ведь пьеса словно нарочно для них написана – о том, до чего может довести любовь к иностранке.

Сидор получил приказание каждое утро спозаранку отправляться к цирку, чтобы успеть взять ложу сразу же, как объявят, что она свободна. А я впервые обрадовалась тому, что мы опять идем в Верманский парк. И даже торопила девиц, которые собирались так тщательно, словно под венец.

Я поняла, что Малый Верманский парк выбран для цирка непроста – в нем, должно быть, по утрам выводят лошадей. Конюшню (длинное здание было именно конюшней, в которой ночевали конюхи и прочие служители) поставили так, что она простиралась вдоль ограды и закрывала от посторонних взоров площадку, где удобно было ходить с лошадьми, а с другой стороны эту площадку закрывали кусты сирени. Когда мальчики опять пристали ко мне с вопросами о цирке, я предложила им прогуляться там – глядишь, и удастся разглядеть поближе знаменитых скакунов.

В этом был особый смысл: одно дело смотреть на итальянца в нарядном мундире, да еще, поди, и накрашенного, да под бравурную музыку, да еще заразившись общим восторгом, совсем другое – увидеть его в простой одежде, нечесаного, сердитого на разиню-конюха...

Я страстно желала истребить из души этот фальшивый образ! Средства, мной избранные, были правильны и благоразумны. Во-первых, посмотреть на итальянца в неприглядном виде, во-вторых, осознать, что он – всего лишь ловкий ремесленник, которому за то и платят, чтобы дамы от его огненного взора ахали и в обморок валялись!

В парке я оставила моих девиц с их рукодельем под присмотром миссис Кларенс (которая опять возмутилась по-английски, что ее брали для ухода за прелестными малютками, а не за взрослыми и строптивыми мисс!), а сама взяла мальчиков и повела их к ограде Малого

Верманского парка, вход в который, как я и полагала, был временно закрыт. Для них это было целое приключение – ведь я позволила им залезть на ограду, а сама смотрела по сторонам – чтобы никто не заметил этого безобразия.

Эта часть Дерптской улицы, разделявшая оба парка, обычно была пустынна – пешеходы пробегали по ней рано утром и ближе к вечеру, торопясь на службу в крепость и из крепости домой, к обеду. Проезжали разве что экипажи – но кто станет из экипажа смотреть на ограду, что в ней любопытного?

Я оказалась права – действительно, в том закутке водили по кругу лошадей, не только белых, но и вороных, и прочих мастей. Николенька, который забрался на самый верх ограды, соскочил и восторженно доложил мне, каковы эти изумительные лошади, но вопрос о конюхах его озадачил – он-то, разумеется, только на животных смотрел.

Пока я говорила с Николенькой, Вася, утратив чувство меры, ловко перескочил с ограды в Малый Верманский и шмыгнул в кусты сирени. Я оказалась в самом нелепом положении – я не могла громко звать его и не могла также лезть за ним туда, а меж тем мальчика могли заметить цирковые служители, и чем бы это кончилось – одному Богу ведомо. Нам с перепуганным Николенькой оставалось лишь высматривать в кустах два светлых пятна – бело-голубые полосатые панталоны и золотисто-белокурую голову.

Наконец он вернулся и очень сноровисто, почти молниеносно, перебрался через ограду – я и не знала за ним таких талантов.

– Мисс Бетти, – зашептал он, хотя подслушивать нас было некому. – Там, в кустах, сидит человек! И тоже следит, как гуляют лошади!

– Что за человек? – спросила я.

– Простого звания, мисс Бетти! В каком-то армяке, но без бороды! Сидит на карачках, его и не видно! Я случайно заметил!

– Сколько раз просила я не называть меня мисс Бетти! – вспыхнула я, очень недовольная положением дел. Из-за моих проказ ребенок чуть не попал в беду – вряд ли благонамеренный обыватель станет тайком подкрадываться к цирку, он наверняка задумал какое-то воровство и не стал бы жалеть дитя, случайно раскрывшее его замыслы. Нужно было поскорее уходить отсюда. Но Николенька побежал вдоль ограды, стуча по ней где-то подобранный палкой. Уму непостижимо, откуда они только берут все эти палки, гвозди, стертые подковы, сломанные шпоры, пистолетные пули, древние мундирные пуговицы и прочую дребедень, которой место в помойной яме.

Я быстро пошла следом за Николенькой, чтобы взять его за руку и перевести через улицу. Поскольку Дерптская в это время обыкновенно пуста, случайный экипаж может пронестись по ней с бешеной скоростью, особенно если хозяин – любитель быстрой езды. Тут за детьми нужен глаз да глаз.

Вдруг Николенька шарахнулся от ограды с таким страхом, словно оттуда мог выпрыгнуть большой пес, вроде того, который ужас как перепугал его трехлетнего. Мальчик до сих пор боится крупных собак, даже самых миролюбивых, и никакие объяснения тут не помогают.

Ничего удивительного не было бы в том, что по запертому парку ходят сторожевые псы, привезенные «гимнастическим цирком» для охраны имущества. Странно было бы иное – если бы таких псов не оказалось. Я кинулась к Николеньке бегом, чтобы не дать ему расплакаться от страха.

Тут-то я и увидела то лицо.

Оно показалось мне зверским – злодей в зеленовато-буром то ли армяке, то ли кафтане, скалился на Николеньку из кустов, да еще показывал преогромный кулачище. Нас разделяла ограда – да что значит ограда высотой в неполную сажень, для такого разбойника?

Схватив ребенка на руки, я побежала прочь – вдоль по Дерптской.

Вася бежал следом и догнал нас уже на краю парка.

– Мисс Бетти, я его тоже видел! Это он, тот самый! Мисс Бетти, я знаю – он задумал украсть лошадей! – кричал Вася в полном восторге.

– Это самые дорогие лошади в мире! Мне Кудряшка рассказал!

– Не смей называть Аркадия Семеновича Кудряшкой! – ответила я.

– А что? Маша с Катей ведь его так зовут! Ой, нет – Мэри и Китти!

Вот что меня умиляет в моих барышнях – английский язык они учить не хотят, а быть «Мэри» и «Китти» – хотят! И нравится Кудряшнову они очень хотят – не для того, чтобы с ним повенчаться, а просто так – надо же кому-то нравится.

– Идем к миссис Кларенс, Вася, – сказала я и спустила с рук Николеньку.

Большой Верманский парк имел четыре входа – на каждом углу по входу. Естественно, мне нужен был ближайший. Я поскорее перевела детей через Дерптскую и невольно обернулась назад – как будто страшный мужик мог погнаться за нами. Но увидела я не злодея, а нечто иное.

Вход в цирк господина де Баха был со стороны Дерптской улицы, и хотя до представления оставалось еще много времени, там уже стояла странная публика, главным образом дамы и девицы мещанского сословия, не менее трех десятков. Они кого-то поджидали – но кто бы им мог понадобиться?

– Вася, смотри, – я показала мальчику на это сборище. – Давай пройдем к другому входу и посмотрим заодно, что это там творится. Будет что рассказать Маше и Кате.

Я надеялась, что мальчики поведают сестрам о странном собрании у цирковых дверей и не скажут о Васиной эскападе, да и о мужике в кустах промолчат.

Зрение у меня хорошее, несмотря на то что я много читаю и вышиваю. Поэтому я, медленно проходя с мальчиками мимо цирковых дверей, отлично все видела. Дамская толпа взволновалась, сперва хлынула к дверям, потом расступилась.

На улицу вышло несколько человек, мужчин и женщин, очень хорошо одетых. Они пошли по проходу, образовавшемуся в толпе. Первым был сам господин де Бах под руку с пожилой дамой – очевидно, супругой.

Следом молодой человек вел девушку, свою ровесницу: это, кажется, был Альберт. Еще один мужчина средних лет тоже был со спутницей, а спутница явно опекала белокурую девочку, в которой признала я мадемуазель Клариссу. И, наконец, явилось с полдюжины молодых людей. Их-то и ждали!

Одним из них был Лучиано Гверра.

Я увидела его – и беззвучно ахнула. Хотя с чего бы мне ахать – ведь могла б сообразить, что он не живет в цирке безвыходно, как Шильонский узник или Железная Маска. Могла бы догадаться, что он имеет хорошее жалование, достаточное, чтобы щегольски одеваться и обещать в дорогом трактире. Так нет же – явление проклятого итальянского штукаря было как гром среди ясного неба, да еще вместе с молнией.

На нем был сюртук изумительного цвета, темно-зеленого, почти черного, наглухо застегнутый бледно-жонкилевый жилет, черный атласный галстук. Цилиндр свой он нес в руке, и все могли любоваться его смоляными кудрями. Похоже, именно ради него и собралась толпа. Девицы загалдели, он поднял руку, как бы отстраняя их вместе с их несуразной пылкостью; кому-то все же улыбнулся...

Орава взбесившихся мещанок провожала господина де Баха и его свиту к Александровской и через всю эспланаду. Только близость городских ворот, у которых собралось уже несколько экипажей и телег, остановила это войско. Всякий проход через Александровские ворота ныне – приключение, потому что город растет, население умножается, а проезд к воротам остается так же узок, как во времена Петра Великого.

Лишь потеряв их всех из виду, я поняла, что мне следует сделать.

Я хорошо рисую, у меня в институте за рисование были лучшие баллы. Отчего бы мне не изобразить злодея, что подглядывал за лошадьми, и не обратиться прямо к господину

де Баху? Если я раскрою злоумышление, он мне будет благодарен, да и вообще долг всякого честного человека, случайно ставшего свидетелем злоумышления, – раскрывать его, забыв о страхе. Вот и в стихотворении Пушкина о купеческой дочери Наташе о том же говорится – выдала злодея, не побоялась! А мне чего бояться?

Вечером я уселась рисовать. Лицо я запомнила хорошо – оно было широкое, с прищуренными глазами, и вид имело такой, словно кто-то крепко стукнул по макушке сверху, и оно сплющилось. Я рисовала и думала, до какой же степени нужно потерять стыд, чтобы среди бела дня караулить красавчика-штукаря! Прямо у дверей, да еще поднявши шум, словно на ярмарке!

Да, разумеется, я хотела его увидеть, но с разумной целью и скрытно. А не так, чтобы весь город на меня пальцами показывал! Я хотела привести себя в чувство, выбить у себя из головы эту чушь, а не любоваться вблизи смазливый черноглазым щеголем!

Да, он классически красив, он – как античное изваяние, ну так и нужно к нему относиться соответственно. Где ж видано, чтобы человека охватывал жар при виде греческого Аполлона?

Рука моя невольно провела линию по бумаге, возле портрета злодея, несколько карикатурного, но удачного. Линия как раз и была античным профилем (как на грех, русского слова для этого вида на лицо нет). Карандаш мой наметил линию густых бровей, глаз, чуть припухлых губ – и я долго стирала свое нечаянное художество, чтобы и следа от него не осталось.

Теперь я была готова идти в цирк к господину де Баху.

Я смутно представляла себе внутренние помещения такого здания, но рассуждала логически. У господина директора непременно есть кабинет. Я попрошу, чтобы меня туда проводили. Время выберу утреннее. Иначе он с супругой своей и со всей свитой уйдет куда-нибудь обедать. Остается изобрести способ, как на полчаса ускользнуть от миссис Кларенс и детей. А способ обыкновенный – забыть дома что-то необходимое.

Я заглянула в свою корзиночку с рукоделием. В последние дни я вышивала монограммы на платках для Варвары Петровны и учила этому искусству девиц. Платочек для монограммы невелик, его не заправляют в большие пальцы, его удобно брать с собой в парк и работать, сидя на лавочке. У меня было несколько вышитых алфавитов, с которых Маша с Катей перенимали буквы, – вот эти алфавиты я и вынула.

Несложный этот план осуществился без помех. Рисунок я заранее спрятала в потайном кармане платья. Нужно было успеть в цирк до того, как его хозяин со свитой отправится обедать.

Я совершенно не собиралась встречаться там, даже мимолетно, с Лучиано Гверра. И вот тому доказательство – я не переменила прическу и не надела платье понаряднее. А то, что я надела новые туфельки, голубые атласные, с узенькими лентами, означало, что старые совершенно истрепались на дорожках парка. Модные туфли не предназначены для ходьбы по песку и траве. Еще я поменяла серьги – обычно я ношу маленькие, чтобы служить примером моим девицам, им дай волю – они прицепят к ушам парадные броши своей бабушки, по полтора вершка в высоту. Я взяла продолговатые серьги с гранатами – скромно и красиво, гранаты мне к лицу.

При входе в цирк меня ждала неприятная встреча – там расположился нищий, ветеран чуть ли не суворовских сражений, если только он ни у кого не позаимствовал мундир свой, с коричневыми и черными заплатами. Нищий сидел на турецкий лад в таком месте, где трудно было рассчитывать на подавание, и что-то пел тихонько, а его смуглое лицо, покрытое белой щетиной, выражало вселенскую скорбь. Он протянул ко мне руку – но денег я с собой не взяла и потому проскользнула мимо.

Дверей было несколько – кажется, три большие. Открытой оказалась одна. Я вошла – и тут же навстречу мне выскочил служитель, то ли сторож, то ли привратник. Он обратился ко мне на плохом немецком языке, предлагая убираться прочь. В цирковой прихожей (слово

«вестибюль» мне известно, но для чего употреблять французское, когда есть русское?) сейчас было темно, не горели настенные лампы, оснащенные зеркалами, и этот привратник не понял, что перед ним женщина из хорошего общества.

Я отвечала ему ледяным голосом, что должна видеть господина директора, и решительно вошла в первые попавшиеся двери. Оказалась я в дугообразном коридоре. Коридор этот, в который выходили многие арки, что были задернуты бархатными шторами, я помнила – он простирался вокруг манежа, а через арки можно было попасть в ложи и первого, и второго ярусов.

Но я понимала, что директору в ложе делать нечего, что у него где-то непременно есть кабинет, и пошла наугад. Вдруг я услышала отчаянную немецкую ругань. Она доносилась с манежа. Выходит, там есть люди, – так подумала я и устремила в первую арку, чтобы спросить этих людей о де Бахе.

То, что я увидела, более всего напоминало бы приют умалишенных на прогулке.

Мне навстречу по манежу катился, кувыркаясь, человек в грязной белой рубашке и, кажется, исподних портках. Другой человек скакал на одном месте. Девочка в короткой юбке, с обвитыми вокруг головы косами, крутилась как юла. Кажется, это была мадемуазель Кларисса. Четвертый задумчиво стоял в куче опилок на четвереньках. Посреди манежа возле опорного столба был установлен другой, а между ними – привязанная белая лошадь. Возле лошади спорили трое мужчин и молодая женщина в юбке, едва закрывавшей колени, один из этих мужчин был де Бах, одетый отнюдь не щегольски, а в длинный и поношенный бурый шлафрок, с длинным бичом в руке... Чуть ли не перед моим носом стала быстро опускаться огромная люстра, одна из четырех, освещавших манеж. Я невольно отскочила – мне показалось, что она может на меня упасть. Все было куда проще – к люстре устремился малый с корзиной и принялся менять в ней огарки на целые свечи.

Кроме того, меня изумил запах. Наверно, перед представлением где-то зажигали курильницы, чтобы публике не сделалось дурно. Я понимала, что тут рядом конюшня, и трудно ожидать от нее благоухания парфюмерной лавки, но пахло не только лошадьми, зловоние было страшное. Удивительно, что никого, кроме меня, это не смущало, даже молодая женщина, одетая модно и со вкусом, казалось, не замечала его.

Де Бах вдруг резко повернулся. Я испугалась, что он закричит на меня, но оказалось, что его внимание привлек чужак, который кувырчался в опилках. Закричав на него, де Бах вдруг грозно шелкнул бичом. Чужак убрался, а я подняла руку, желая, чтобы меня заметили.

Так и вышло. Де Бах, видимо, решил, что это одна из поклонниц его замечательных наездников пробралась в цирк, и указал на меня, словно бы безмолвно приказывая: выведите ее отсюда. Тут же ко мне устремился молодой человек, в котором я мгновенно узнала Лучиано Гверра. Сейчас он был одет в черные панталоны вроде кюлот, в короткие сапоги на манер гусарских ботинок, разве что без кисточки и с мягкой подошвой, и в простую рубашку навывпуск.

– Господин Гверра, – быстро сказала я по-немецки. – У меня важное дело к господину директору, пусть он соблаговолит подойти!

Тут меня выручила цирковая обстановка – я бы, пожалуй, и сама вышла на манеж, но мешал барьер, довольно высокий и широкий; прыгать, как коза, я не умею, а звать кавалера, чтобы подал руку и помог перебраться, не желаю. Поэтому я оставалась на своем месте, как полагается даме, пока недовольный де Бах шел ко мне.

– Что вам угодно, сударыня? – спросил он.

– Господин директор, я видела злоумышленника, о котором вам полезно будет узнать.

– Что за злоумышленник?

Он не был сейчас любезен и галантен, но я не обиделась.

– Я проходила утром мимо ограды, за которой можно было видеть сквозь кусты конюшню и лошадей. Со мной были дети, и они заметили, что в кустах сирени прячется человек, наблю-

дающий за вашими служителями. Он не хотел быть замеченным, и когда дети его обнаружили, испугал их, мне пришлось их увести. Но я умею рисовать, и вот его портрет.

– Черт! – воскликнул де Бах, мало беспокоясь, что при дамах поминать нечистого не след. – Опять! Нам только этого не доставало! Где портрет?

Я вручила ему листок.

– Однако вы хорошо рисуете, фрейлен, – заметил он. – Примите мою благодарность. Я велю выписать вам контрамарку в мою ложу. Люциус, пошли кого-нибудь к кассиру!

– Ганс! – крикнул толстячок, одетый, как Гверра, в короткие панталоны и расстегнутую до середины груди рубаху. – Сыщи мне Геринга...

– Не надо! – быстро сказала я, порядком смутившись и старательно избегая смотреть в сторону итальянца. – Я не смогу воспользоваться... я служу в приличном доме и не могу уходить по вечерам... с меня довольно сознания, что сделано доброе дело...

– Расскажите, когда и как вы видели этого... этого человека, – сказал де Бах.

Я покосилась на итальянца – он не уходил, а встал так, чтобы слышать наш разговор. Это меня страх как беспокоило – хотя я умею держать себя в руках, но что-то было в присутствии Гверры неприятное до дрожи.

Я более подробно рассказала о том, кто прятался в кустах сирени. Де Бах мрачно кивал. Меж тем люди убрались с манежа, зато туда выпустили лошадей. Это были белоснежные красавцы, которые, не дожидаясь приказа, пошли по кругу, красиво поднимая передние ноги. Де Бах посмотрел на них и улыбнулся. Я поняла – вот его любимцы.

– Я ваш должник, фрейлен, – сказал он. – Соперники мои и враги ни перед чем не остановятся, они способны поджечь конюшню, чтобы лишить меня главного моего сокровища. Слыхали ль вы о венской школе верховой езды?

– Только то, что говорится обыкновенно во время представления.

– А, так вы уже видели моих липпицианов? Что вы скажете о них?

– Они великолепны, – осторожно отвечала я, покраснев при этом до ушей. Не то чтобы я солгала, нет! Но если бы вместо лошадей в манеж выпустили верблюдов и носорогов, я бы не обратила внимания – настолько я была потрясена тогда мастерством и ловкостью итальянца.

– Великолепны! Это «школьные» лошади, фрейлен, лучшие во всей Европе! За те сто лет, что существует Венская школа езды, таких еще не бывало! Эта шестерка стоит дороже всей остальной моей конюшни! Вы ведь видели их лансады! Их кабриоли! Когда липпициан взмывает ввысь – кажется, будто он пробьет цирковой купол и улетит!

Я и не предполагала в господине директоре столь поэтической души. И понятия не имела, что есть «лансады». Но любовь к породистым лошадям – ей-Богу, не худшее, что может владеть душой. Правда, де Бах тут же испортил приятное впечатление.

– И этим лошадям, этим лучшим созданиям Божьим, грозит опасность, фрейлен. Повторяю – враги мои хотят погубить их. Они хотят пустить меня по миру. Но я найду способ справиться со своими врагами!

Тут уж возмущение господина директора показалось мне несколько наигранным. Было непонятно – зачем выкрикивать угрозы на весь цирк, зная, что загадочные враги их заведомо не услышат. И я заторопилась прочь – тем более, что аромат цирка сделался совершенно несносным.

Я знала одну особенность в отношениях между мужчиной и женщиной. Чтобы увлечь мужчину, надо показывать вид, словно скрываешься от него. Кудряшов, например, когда видел, что я избегаю его общества, начинал меня открыто преследовать. Но, спеша по дугообразному коридору, я желала лишь одного – поскорее выбраться на свежий воздух. Я не собиралась никого соблазнять своим бегством и совершенно не имела в виду увлечь Лучиано Гверру.

Он догнал меня у самых дверей, ведущих в прихожую.

– Фрейлен, – сказал он, забегая вперед и хватая меня за руку. – Только вы можете мне помочь!

Я понимаю, что и в цирке, и в Италии нравы вольные, но я покамест еще вправе решать, кому позволю прикоснуться к руке своей! Я выдернула пальцы из его ладони, постаравшись показать все возмущение благовоспитанной девицы, какое следует испытывать при таком нахальстве. Но на самом деле не возмущение охватило меня, а испуг. Я умела дать отпор и Кудряшову, и нашему домохозяину Шнитке, и офицерам, которые пытались в парке ухаживать за нами, за всеми тремя – Машей, Катей и мной. Но я всегда знала, что строгое слово и ледяной тон производят впечатление на воспитанных людей. Тут же мне попался человек совершенно невоспитанный, хотя и умевший щегольски одеваться.

– Я ничем не могу вам помочь! – воскликнула я, страстно желая одного – оказаться в парке, в обществе знакомых дам, подальше от безумного итальянца.

– Нет, фрейлен, нет, выслушайте меня! Мне необходимо, чтобы вы нарисовали еще один портрет злоумышленника!

Менее всего я ожидала такой просьбы.

– На что вам? – невольно спросила я.

– Фрейлен, это необходимо, от этого зависит вся моя будущность!

– Как может ваша будущность зависеть от грязного мужика, который лазит через ограды и прячется в кустах?

– Фрейлен, я все объясню вам, вы только позвольте объяснить...

В его голосе было такое отчаяние, что мое сердце дрогнуло. Видимо, в цирке плелись какие-то интриги, и юноша стал их жертвой.

– Но я не могу стоять тут с вами...

– Фрейлен, я приду, куда вам будет угодно приказать, это очень важно... от этого зависит жизнь и смерть моя!..

– Но я, право, не знаю...

Все это случилось так внезапно, да я к тому же и не имела опыта по части тайных свиданий. Пригласить Лучиано Гверру домой я никак не могла. Допустить, чтобы меня с ним видели на улице, также не могла – на улицах останавливаются для бесед с мужчинами только дамы известного разбора. Других мест как будто и не было... Вдруг меня осенило.

– Вы знаете, где храм Александра Невского? – спросила я.

– Храм кого?

Мне было не до лекций по российской истории.

– Как пойдете по Александровской прочь от крепости, так по левую руку будет круглое желтое строение с колоннами и куполом.

Варвара Петровна без лишних вопросов отпустила бы меня к вечерне и даже дала бы поручения – поставить свечи, заказать сорокоусты во здравие и за упокой, принести домой лампадного масла из церковной лавки. Вечерня менее двух часов не длится. Итальянец, как бы ни затянулось цирковое представление, успевал переодеться и прибежать. К тому же в церкви он уж точно не станет хватать меня за руки.

– Когда, фрейлен? – спросил он.

– После представления...

– Сегодня?

– Сегодня! – и я кинулась прочь из этой темной цирковой прихожей, от этого загадочного человека, который после десяти минут знакомства (да какой знакомство, коли нас друг другу даже не представили?) сумел добиться от меня пресловутого тайного свидания!

Нищий у дверей бормотал какую-то душеспасительную песню. Мне стало безумно жаль его – он же здесь не получит ни гроша. Но и дать было нечего, а меж тем я страстно желала вывалить ему на колени корзину хорошей еды. Варвара Петровна часто говаривала,

что надобно давать голодным пищу, а деньги – прямой соблазн тем, кто способен их пропить в ближайшем кабаке, и это было разумно. Вдруг я вспомнила – ведь в потайном кармане все еще лежит конфект, прихваченный для Николеньки, чтобы поощрить за послушание.

Я вынула конфект в пестрой бумажке и положила в протянутую руку. Нищий, казалось, погруженный в свое безобидное безумие, поднял голову и взглянул на меня, как мне показалось – с тревогой. И тут дверь отворилась, на пороге встал Лучиано Гверра.

– Нет, нет, не сейчас! – сказала я быстро.

– Но я должен объяснить вам...

– Потом, потом... при встрече!.. Как уговорились!..

Я поспешила прочь, радуясь тому, что улица безлюдна и никто не видит меня по-свойски беседующей с красавчиком-итальянцем.

К ужасу моему, вблизи и в простом платье он был еще более красив, чем в роскошном мундире, на спине скачущей лошади, с победной улыбкой и развевающимися кудрями. Насчет его возраста я не ошиблась – ему было лет двадцать, может, двадцать два, лицо было еще свежим, чего не скажешь о лицах наших чиновников. Тому же Кудряшову еще тридцати не исполнилось, а вид уже бледный и страдальческий. Ермолай Андреевич как-то, ссорясь с Варварой Петровной, кричал ей о причине страданий нашего чиновничества, ведущего сплошь сидячий образ жизни. Повторять его слова я не могу – они чересчур пошлые. А нас в институте воспитывали так, чтобы мы не могли даже пошлых мыслей допускать. Это не значит, что нас готовили в монастырь – мы и смеялись там вволю, и учились любить прекрасное во всех его проявлениях. Но также учились четко проводить границу, отделяющую забавное от низменного.

Вернувшись домой – а я почти бежала, чтобы мое отсутствие не выглядело слишком длительным, – я нарочно зашла на кухню к нашей стряпухе Дарье, чтобы она видела меня и могла подтвердить, что я приходила за своими забытыми алфавитами. Вот до каких хитростей довела меня жизнь – а ведь я, как большинство воспитанниц нашего института, простодушна.

В Верманском парке миссис Кларенс изругала меня по-английски, говоря очень быстро, чтобы дети ничего не поняли. Я отвечала ей тем же – в конце концов, если я расскажу, что она тайно прикладывает к бутылочке, кому от этого будет лучше? И, чтобы примириться, взяла Васю с Николенькой и пошла с ними гулять.

Они как раз завершили войну с Бонапартом, в которой участвовало около двух дюжин оловянных солдатиков, пехотинцев и кавалеристов, и отдельно две игрушечные пушки и три маленькие фарфоровые лошадки, взятые из дому без спросу. Бонапартом был, конечно, Николенька – и я сделала Васе строгое внушение, наказав, что Бонапартом они впредь будут по очереди.

Я хотела повести мальчиков смотреть на бастионы, но их больше привлекал цирк. И оба сильно расстраивались из-за того, что злой мужик все никак не соберется поджечь это деревянное строение. Ермолай Андреевич как-то, не подумавши, рассказал им, что в юности своей вместе с приятелями любил ездить на пожары, особенно ночью. Вот они и принялись мечтать об этом страшном зрелище.

Сперва я думала, что это лишь скверное любопытство, а потом оказалось, что они собираются выводить лошадей из конюшни. Спасение лошадей мне понравилось, я похвалила мальчиков за благие намерения, и тут выяснилась причина их героизма: они надеялись, что за такой подвиг директор позволит им приходиться в цирк каждый вечер, и это еще не все!

– А Вася взял у маман дьяболо и учится кидать за спиной, чтобы его взяли в цирк! – наядбедничал Николенька.

Дьяболо – такая игрушка, что была в каждом доме в годы моего детства. Это веревочка на двух палках, а по веревочке перемещается катушка. Были ловкачи, которые эту катушку подбрасывали и вновь ловили на веревочку, причем неоднократно, делая пируэты, перекрецивая руки и чуть ли не с закрытыми глазами. Невелика наука, если не пожалеть на нее вре-

мени, которое можно потратить с большей пользой. Так вот, Вася вообразил, что с дьяболо он может наняться в цирк, а потом научиться ездить верхом не хуже, чем Гверра, и путешествовать по всему миру. А я-то радовалась, что он сам, без принуждения, листает большой атлас!

– Оставьте беспокойство, – сказала я. – Цирк хорошо охраняется. Поджечь его невозможно.

– Как невозможно? – возмутился Вася. – Мисс Бетти, пойдем посмотрим! Я сам вам покажу, где его нужно поджигать!

Что прикажете отвечать на такие глупости?

– По ночам вокруг цирка ходят сторожа, – уверенно сказала я, полагая, что это вряд ли ложь: предупрежденный мною де Бах должен же принять какие-то меры.

– А если полезут через ограду? И прямо к конюшне? – спросил Вася.

– А если сторожей отвлекут? Устроят им ложную тревогу? А в конюшне – лошади!

– Вася, прекрати сочинять! – воскликнула я. Вот тоже новый господин Загоскин выискался, знаток по части разбойничьих приключений!.. Я, разумеется, читала «Юрия Милославского» – да кто же из образованных русских читателей им не восхищался? Я ставлю его даже выше сэра Вальтера Скотта – еще и потому, что наша ленивая молодежь рада вообще не знать истории своего Отечества, а читая сочинение Загоскина, получит представление о том, как из Москвы изгнали поляков и как воцарился первый из государей династии Романовых.

Мы прошлись по Дерптской, глядя на цирк, и Вася с Николенькой сильно огорчились – я доказала им, что подкрасться к зданию незамеченным совершенно невозможно.

Потом до самого вечера никаких разговоров о пожаре не было.

Я отпросилась в церковь, Варвара Петровна чуть было не собралась со мной, но престелные крошки, которых нянчила миссис Кларенс, расхныкались – у них заболели животики. Я подозревала, в чем тут дело – англичанка пускала их ходить по травке, так долго ли сорвать стебелек и сунуть в рот? Но она молчала о том, что я надолго оставила девиц, и я тоже не стала ее подводить.

Завернувшись в свою новую модную шаль, кофейного цвета с едва заметным цветочным узором, я отправилась в храм Александра Невского. У меня, право, не было времени сесть и еще раз нарисовать портрет сидевшего в кустах злоумышленника. Если бы время было – я бы нарисовала и без всяких объяснений отдала итальянцу. Это было бы самое разумное – отдать и более с ним не разговаривать. А теперь получалось, что я после встречи в церкви должна буду встретиться с ним еще раз. Все это произошло само собой – я лишь потом осознала, что новое свидание неизбежно.

В церкви собрались в тот вечер главным образом пожилые прихожане, и я забеспокоилась – итальянец будет тут единственным молодым человеком, на него тут же все обратят внимание – а, значит, и на меня. Единственным спасением было бы – пробраться вдвоем в небольшой церковный садик, где в такое время вряд ли кто сидит. Но и тогда нас увидят – ведь еще светло...

Соображая все эти обстоятельства, я от души пожалела тех девиц, которые и впрямь затевают тайные романы, не говоря уж о замужних дамах. Сколько же с такими романами хлопот!

В храме я встала неподалеку от дверей. Началась вечерняя служба; я была необычайно рассеянна, откликаясь душой лишь на «Господи, помилуй!». Это меня раздражало – храм не то место, где думать о заезжих итальянцах. Но я невольно сравнивала его с образом святого целителя Пантелеймона, перед которым успела поставить свечку за наших болящих малюток. Между ними какое-то мистическое сходство, хотя лицо Гверры проще, грубее и более страстно выражает чувства – так думала я, безмерно беспокоясь: ведь он, отыскав меня в полумраке, непременно попытается опять взять за руку...

Служба близилась к концу, когда он появился. Я вся извелась, и его прикосновение меня не взволновало – напротив, я сама взяла его за рукав и вывела в притвор.

– Говорите, пока тут никого нет, – сказала я.

– Фрейлен, все дело в моем старшем брате, – сразу начал Лучиано. – В моем брате Алессандро, таком наезднике и знатоке лошадей, что подобного нет на белом свете. Он получил прозвание «Неистовый» – если бы вы его видели, вы пришли бы в восторг, это, это... пламя в образе человеческом!.. Сколько дам он сделал несчастными...

– Об этом в храме Божиим вам бы лучше помолчать, – сказала я.

– Я хочу, чтобы вы поняли, фрейлен, почему он до тридцати пяти лет не женился. Но он образумился, он женился, как нам казалось, удачно... Жена его Лаура – дочь господина де Баха, понимаете, фрейлен? Мы с ним несколько лет выступали у де Баха, и он покорила Лауру. Но есть такая необходимая вещь, как приданое... Лаура имела основания полагать, что отец даст за ней, кроме денег, пару «школьных» липпицианов!

– Место ли тут, чтобы говорить о лошадях?

Задав вопрос строгим голосом, я вдруг поняла, что тут-то как раз самое место и время для разговора. К концу службы никто в церковь не прибежит и никто не выйдет оттуда, когда осталось не более четверти часа; стало быть...

Но мысль о том, что можно бы тут назначить следующее свидание, я изгнала из головы с неподдельным ужасом, воззвав безмолвно: о Господи, да что же со мной происходит? Я мечтаю о встрече с конным штукарем в храме, да еще говорю тут с ним на немецком языке... об этом и на исповеди-то сказать страшно...

– Другого места нет, фрейлен, – разумно отвечал Лучиано. – Алессандро и Лаура повенчались, и брат мой пожелал сам стать директором цирка. Собрать труппу было несложно – иные из артистов пошли с ним, несколько лошадей он получил от де Баха. Но это не были липпицианы! Наконец они расстались. Я хотел уйти вместе с братом, но он сказал мне: нет, Лучиано, ты останешься тут, ты будешь учиться «школьной» езде, а еще учиться обхождению с липпицианами. Это высокое искусство, фрейлен, поверьте... Ты будешь внимательно следить за ними, – так сказал мне брат, – и ты будешь во всем подчиняться директору. Он не вечен, у него три сына – если мы не исхитримся сделать так, чтобы коней получила моя Лаура, то мы их никогда более не увидим. А липпициан, фрейлен, живет долго, поразительно долго – это единственная лошадь, которая и в двадцать, и в двадцать пять лет делает лансаду и кабриоль. Арабской лошади до него далеко, испанской тоже далеко. Это – истинное сокровище, фрейлен!

Тут в памяти моей возникли картинки – белая лошадь, стоя на задних ногах, подпрыгивает так высоко, пролетая при этом по воздуху чуть ли не на сажень вперед, что публика бешено рукоплещет ей и мальчику-наезднику.

– Но де Бах хитер, фрейлен, хитер и подозрителен. Он подозревает меня во всех смертных грехах. Он не дает мне выступать в полную силу! Он учит лошадей тайком от меня! И если что-то случится с ними – обвинен буду я, фрейлен!

– Тише! – воскликнула я, потому что итальянец совсем разбуянился.

Тут дверь приоткрылась – кому-то не терпелось на свежий воздух. Я ахнула, Гверра заслонил меня собой, и стало ясно, что после выступления он не имел времени помыться. На нем была свежая сорочка, прекрасный жилет, но он даже не догадался spraysнуться ароматной водой.

Нас в институте приучили мыться в любых обстоятельствах, даже если вода ледяная. И первое мое желание было – оттолкнуть итальянца. Но он в чрезмерной заботе о моей репутации так прижал меня, что я даже не могла упереться руками ему в грудь. Хлопнула вторая дверь – беглец со службы покинул притвор, а Гверра не отстранялся.

– Пустите, – приказала я. – Да пустите же!

– Фрейлен, мне необходим второй портрет, – сказал итальянец. – Я покажу его друзьям моим, у меня в труппе есть друзья, мы выследим того злоумышленника. Де Бах мне его ни за что теперь не покажет, а если что-то случится – это будет предлогом, чтобы вышвырнуть меня из труппы. Только вы можете спасти меня, фрейлен, вы одна! Ради всего святого, ради всех, кто вам дорог! Я хороший артист, фрейлен, я лучший наездник в труппе, я уже сейчас превзошел брата Алессандро! Мы достойны этих липпицианов! Нам свои сейчас не по карману, Алессандро странствует по Италии и копит деньги, нам нужна хотя бы пара!

– Неужели это так важно? – спросила я, все же исхитрившись оттолкнуть страстного итальянца.

– Очень важно! Мы приезжаем в город, где стоит гарнизон. Офицеры все – любители лошадей. Только на липпициане можно показать «школьную» выездку – и пиаффе, и пассаж, и прекрасную перемену ноги на галопе, и боковой галоп! Обыкновенные лошади так не могут. Могут – но не так! Цирк полон, господа офицеры платят за ложи, сулят бешеные деньги за несколько уроков езды! Хорошая лошадь в цирке – это, это... как лучшая балерина в опере! В цирк ходят ради лошадей, фрейлен. Мой Алессандро взял хороших, но это не липпицианы...

– Ладно, я сделаю вам второй портрет, – сказала я ему. – Как мне передать его вам?

– Мы можем встретиться здесь же, – немедленно ответил Лучиано.

– Назовите время – я приду. Завтра у меня весь вечер свободен. Умоляю вас!

Я задумалась. Каждый день меня в Божий храм отпускать не станут – так и представилось лицо Варвары Петровны, произносящей: «С чего бы это на вас, мисс Бетти, такая святость напала?» Но бедный итальянец нуждается в помощи – придется уж потерпеть...

– В это же время, – быстро сказала я.

Он улыбнулся – а улыбка была такова, что у особы более слабой духом сердце бы зашло мгновенно. И со словом «Кариссима!» он поцеловал меня в щеку.

Сам он не видел в своем поступке ничего дурного – очевидно, нравы в гимнастическом цирке господина де Баха вольные, и запросто поцеловать приятельницу свою и товарку по труппе – в порядке вещей.

Я настолько была изумлена, что онемела. Тут опять отворилась дверь – прихожане пошли со службы. И Лучиано кинулся бежать, на прощание одарив меня огненным взором.

Я привалилась к стене, тяжело дыша. Я не понимала, как вышло, что я позволила ему эту безумную вольность. До сих пор при малейшем намеке я становилась холодна, как лед, и благополучно избавлялась от чересчур пылких кавалеров. Но Лучиано... Если бы он попытался намекнуть, как-то красиво попросить дозволения... сказал о любви своей...

Я все равно бы ничего ему не позволила!

Домой я шла, казалось, целую вечность. Я вновь и вновь переживала тот миг, когда увидела его черные глаза так близко от своих. Это были неведомые мне ощущения, я не знала, как с ними бороться. Это был невероятный страх и такой же невероятный восторг.

Диковинное состояние оборвалось, когда я налетела на толстого господина, что вел на поводке двух болонок. Стыдно было до невозможности.

Дома я поужинала на кухне тем, что мне оставили, зашла в спальню к моим девицам, поговорила с ними немного, а потом уж поднялась в свою комнатку. Нужно было выполнять обещание – рисовать второй портрет сидевшего в кустах мужика.

Я села к столику, приготовила бумагу и карандаши, уставилась на пустой лист, провела линию – я провела ее почти бессознательно; стало ясно, что из этой линии получится, и я дала руке волю. Очень скоро передо мной был удачный набросок – но не приплюснутой физиономии мужика, а дивного античного профиля Лучиано. Я вздохнула и поняла, что теперь могу рисовать хоть натюрморт с дичью и фруктами – на бумагу выплеснулось то, что я в себе носила, и душа моя немного успокоилась.

Глава четвертая

Рассказывает Алексей Сурков

Мой Свечкин пропадал дотемна. Явился он в ужасном зеленом армяке, от которого за версту разило псиной, и доложил: Ваня доподлинно в цирке! Но его положение представляется привилегированным – другие мальчишки, служившие на конюшне, бегали босиком, в грязных рубашках, чистили стойла и мыли лошадей, а Ваню Свечкин, засевавший в кустах Малого Верманского парка, сперва видел лишь издали, чисто одетого. Потом племянник мой выехал из конюшни в парк верхом на гнедой лошади, вместе с ним ехал невысокий толстячок и чему-то его обучал. Лошадь под Ваней вдруг принялась высоко поднимать ноги, потом и вовсе заплясала на месте, и этот урок длился не менее часа.

– Стало быть, он им нужен, коли учат, – решил я. – И идти напрямую, требовать, чтобы его мне отдали, – нельзя. Спрячут и не отдадут, да еще наврут мех и торбу. Так, Свечкин?

– Так, – согласился Тимофей.

– Значит, пускаем в ход изобретенную нами подножку. Но придется устроить маскарад. Если я явлюсь в виде столичного жителя, да еще приверженного к английскому стилю, и стану предлагать свое устройство, то де Бах забеспокоится – вряд ли к нему часто жалуют подобные визитеры. А вот когда я переоденусь мастеровым, так оно для него и понятнее...

Уговорились, что Тимофей продолжит с раннего утра слежку за цирком и за Ваней, а я пойду в Московский форштадт обедать с Ларионовым, знакомиться с обещанным Гаврюшей и добывать все, потребное для маскарада.

Яшка отвел меня в трактир, где все блюда уж были готовы, и так накормил, что я сидел, выпуча глаза и тяжело дыша, как рыба на берегу. Самому Яшке такие трапезы были привычны; кроме того, он, желая показать светское воспитание, велел подавать кофей. Сам, правда, пить не стал, а мне собственноручно наливал. Если бы покойный Яшкин батюшка увидел этот кофейник, он бы вдругорядь помер. Для старовера черное пойло – хуже чумы.

За столом мы, кстати, просидели более полутора часов, и я успел изложить свой план проникновения в гимнастический цирк. За это время Яшка спосылал за Гаврюшей, и тот, явившись, смиренно встал у дверей. Это был невысокий белобрысый малый, с рыжеватой бородкой – какой же старовер без бороды. Все в нем было какое-то заостренное – тонкий нос уточкой, неширокие плечики, быстрый взгляд серых глаз. Вся его персона полностью соответствовала ремеслу приказчика – в ней соединялись бойкость и услужливость, тщательно упрямая до поры наглость и пристальное внимание ко всему, что может оказаться вдруг полезным. И только здоровенный тесак у него на поясе вносил в облик некую дисгармонию – где ж это видан приказчик с тесаком?

– Будешь служить этому господину не за страх, а за совесть! – строго сказал Яшка, указуя на меня перстом. – Он с товарищами своими меня от неминуемой смерти спас. А долг платежом красен. Понял, ангел мой?

– Понял, Яков Агафонович, – и Гаврюша поклонился.

– Поступаешь с сего дня к господину Суркову в услужение. Как надобности в тебе не станет, обратно в лавку вернешься.

Яшка, распоряжаясь, был внушителен и даже грозен – прямо фельдмаршал, а не купец из Московского форштадта.

– Яков Агафонович, а что это у тебя люди с оружием по улицам ходят? – спросил я. – Вроде враг у стен не стоит...

– Гаврюша у нас нынче гвардеец, – объяснил Яшка.

– Старовер – и вдруг гвардеец?

– Сами смеемся. Когда господин генерал-губернатор с военными частями пошел в Курляндию на случай, если польский бунт туда распространится, нам было велено для поддержания гарнизона собраться в волонтерские отряды, чтобы нести караульную службу. Сперва решили, что каждый, способный держать ружье, должен исполнить свой долг. А за мирное время народу в Риге прибавилось порядком, на всех на нас ружей не напасешься. Наконец магистрат посчитал и объявил – требуется ополчение в три тысячи душ. И зваться оно будет гвардией. От нас, купеческого сословия, потребовали наших приказчиков и конторщиков. Собрали их возле Большой гильдии, произнесли речи на чистейшем немецком языке и вручили каждому по тесаку. На другой же день стали всех назначать в караулы. Разумно будет и вашей милости нацепить тесак – тогда уж точно за своего все примут.

– Так ведь прямой угрозы уж нет, – сказал я. – Это в феврале и весной ляхи нас одолевали. А в мае мы их разгромили под Остроленкой, да так, что уж не опомнятся.

– Как знать, – уклончиво ответил Яшка. – Угрозы, может, и нет, а в караул ходить велено.

– О прочем маскараде моем, Яша, тоже позаботиться надо, – напомнил я.

– А то в моих лавках для тебя кафтана не сыщется?! – Яшка даже возмутился. – А то у женки моей в сундуках рубах не стало?! Гаврюша! Одень господина Суркова мастеровым из зажиточных, да не наш лад, а на еретический. И сам так же оденься, ничего, Бог простит, коли для дела надо.

Это была верная мысль – где ж видано, чтобы старовер в гимнастическом цирке обрелся?!

Весь остаток дня мы занимались моим маскарадом. Последним штрихом в портрете храброго мастерового были высокие смазные сапоги, за которые Яшка отказался взять хоть копейку.

– На доброе дело в этих сапогах идти, отрока из бесовской пасти вызволять, – объяснил он.

– А что, Яша, давно ли немецкий язык забросил и помыслы, как бы в театр на Королевской улице сходить? – осведомился я.

– Да в театре-то я побывал, – признался он. – Занятно, хоть и грешно. Знаете, сударь мой, Алексей Дмитриевич, есть в человеке две ипостаси, ровно бы, сказать, две души, хоть я и знаю, что душа одна... С первой рождается, и потом ее мамки-няньки, родители и прочая родня воспитывают. Вторую он сам себе создает, когда дома становится тесно и охота свет узнать. Вот он и помещает на место истинной души ту, вторую, самодельную, которой все подавай – все, что раньше было под запретом. Набегается человек, все перепробует и увидит – душа-то его совсем дурная, от беготни ошалела, от пестроты ослепла, а как-то жить надобно. И скажет он: а пошла-ка ты, голубушка, прочь со двора, ты мне такая не надобна. И вот тогда к нему первая душа возвращается, возвращенная в строгости, и прощает его, и соглашается с ним жить...

– А вторая так-таки и уходит прочь, как гулящая девка, которой пятак дали и в тычки выставили?

Яшка усмехнулся.

– Кабы ушла – то мы бы в трактире не сидели и кофей я бы не наливал. Гулящие девки тоже умные попадают. Иную вроде и оставишь, а она где-то поблизости, всегда к твоим услугам, при нужде будет у тебя на посылках, там, где хитрость требуется. И тебе польза, и ей благо.

Я вспомнил давнего Яшку и подивился тому, что он набрался мудрости. И то – девятнадцать лет миновало. А может, и научил кто.

Уговорились, что Гаврюша пойдет со мной и познакомится с моим Тимофеем. Я повел его на Гертрудинскую, а он по дороге показывал мне сперва Московское предместье, потом Петербургское, рассказывая, кто где из известных в городе людей живет, чем промышляет. Дома Тимофей уже завел некоторое хозяйство, и я предложил Гаврюше угощение, но он

отказался. Зато он увидел английский лексикон и книжку сэра Вальтера Скотта «Талисман». Я невеликий любитель истории, но о крестовых походах немного знаю, и потому выбрал для чтения именно этот занимательный роман. В шотландской же истории сам черт ногу сломит, и я, читая «Легенду о Монтрозе», изнывал и маялся, а «Ламмермурскую невесту» вовсе до конца не дочитал.

По-английски Гаврюша немного разумел – все же и английские суда в рижский порт приходят, нельзя не разуместь! А лексикона у него не было. Он жил со старыми и строгими родителями, которые ни за что не позволили бы держать дома светскую книжку. Еще благо, что его не согнали со двора за немецкий язык – святость святостью, а коли его не знать, в приказчиках держать не станут.

Вернулся Тимофей и стал докладывать.

Мой беглый племянник, оказалось, не мог и шагу ступить за ограду Малого Верманского парка. Он гулял по дорожкам, и его подозвал некий высокий господин, проходивший по Дерптской улице. Ваня побежал к нему, и они несколько поговорили, но о чем – Тимофей не расслышал. Но кое-что интересное увидел. Я слово «интерес» употребляю в его прямом английском значении «достойное любопытства», а не то, что иные – когда речь идет о девицах на выданье, которые хотят показаться кавалерам приятными и потому «интересничают».

Господин что-то внушал Ване, а Ваня мотал головой. Вид у него был растерянный. Господин показывал рукой как бы вдоль дерптской – Тимофей решил, что он зовет Ваню на прогулку. Но Ваня пятился, от всего отказывался и, увидев кого-то из конюхов, устремился к нему, как к спасителю своему.

– Как он был одет? – спросил я.

– В сюртучок опрятный, не то в казакинчик с широкими рукавчиками, я не разобрал, в панталончики палевые, как взрослый, – отвечал Тимофей.

– Может, тот господин из столицы приехал и узнал его? – догадался я. – И стал уговаривать вернуться домой, к матушке с батюшкой?

– Может, и так. Да только сдается, что он чем-то парнишку напугал.

– Тем, что от вольной жизни придется домой возвращаться. Плохо это, Свечкин, теперь Ваня до самого отъезда цирка прятаться будет по закоулкам... – я задумался. – В толк не возьму, неужто де Баху больше взять учеников негде? Непременно нужно было недоросля из хорошего семейства сманить! Да еще ведь и одел его за свой счет...

Я знал, что Ваня, удрав из дому, ничего лишнего с собой не взял. Как ходил в короткой курточке, хотя по возрасту его бы уж следовало одевать на взрослый лад, так в ней и скрылся.

– И еще что заметил. Странные люди вокруг цирка околачиваются.

Прохаживаются, сквозь ограду поглядывают, что-то высматривают, перешептываются. С полчаса, я чай, ходили и ушли совсем.

Гаврюша слушал эту беседу и, кажется, усмехался. Когда у человека рот не обычный, а наподобие полумесяца, с приподнятыми остренькими уголками, то и не понять, ехидничает или просто так молчит.

– А что за люди? – спросил я. – Не цыгане, часом? Те вечно насчет лошадей промышляют.

– Подлого звания, барин. Не цыгане, куда там! Белобрысые, тощие. В лаптях на здешний лад, в кафтанишках серых, холщевых, в круглых шляпах. Откуда-то втроем прибежали, послонялись и убежали. Я к ним особо не приглядывался, но у одного кафтанишка сбоку вроде в смоле изгваздан и в опилках.

– Может, хорошеньких наездниц увидеть хотели. Это нам с тобой, Свечкин, бабья не надобно, а им – на ножки посмотреть...

– Тьфу, – мрачно изрек Гаврюша. – Поздно их всех женят, вот в чем беда. Вот и соблазняются...

Тут я ужаснулся.

Случалось мне, грешному, бывать за кулисами, случалось! Идешь, примерно, по узкому коридорчику, а тебе навстречу – сальфида бежит с голыми плечиками, коленки из-под юбочки мелькают! И не захочешь, а вытаращишься. В цирке, надо полагать, то же самое, актеры и актрисы друг дружки мало стесняются. И каково же будет моему толмачу? Что ж мне, его с закрытыми глазами, за руку, в кабинет де Баха вести?

– Сам-то ты женат? – осторожно спросил я. Женатого-то коленками не испугаешь...

– Осенью батюшка женить обещал, уже невесту посватали.

Это было прескверно. Яшка, черт кудлатый, и не подумал, куда посылает своего ловкого приказчика! Сам-то набаловался и угомонился...

– А лет тебе сколько?

– Двадцать стукнуло. Придется жениться... – буркнул он.

– Что ж тут плохого?

– А то, что девство нарушу. Но это ненадолго. Как дети родятся, я от жены прочь пойду. Вернусь в девство. Без детей ведь тоже нельзя.

– Сам до такого додумался? – в превеликом удивлении спросил я.

– У нас так заведено. Муж и жена после обручения и молиться вместе со всеми не могут, потому что вне девства.

– Ты хотел сказать – после венчания?

– У нас не венчают. Обручают в моленной, и все знают, что это и есть брак, то бишь, совокупление.

Вид у Гаврюши был такой, словно мысль о совокуплении была для него хуже горькой редьки.

– Ладно... – пробормотал я, с ужасом думая о Гаврюшиной встрече с наездницами. – Глядишь, и обойдется. Ну что, орлы, составляем диспозицию?

– Составляем! – радостно отозвался Тимофей. – Я наблюдал, когда это цирковое начальство приходит и уходит. С утра они там лошадей гоняют и учат, сам директор в шлафроке, который старше Дендерского зодиака, ходит с бичом, а то и в одних портках и рубахе верхом выезжает. Потом он переодевается и с супружницей своей, с сыновьями и еще какими-то людьми из цирка уходит. Возвращается незадолго до того, как к вечеру прозвонят. Есть ли, нет ли представления – примерно в одно время. Видимо, они по вечерам тоже лошадей в манеже гоняют. И мне сдается, что лучше к нему вечером подойти, когда он после обеда и променада добрый.

– А что, с утра зол? – спросил я.

– Орет, ругается, только ни черта не понять.

– Поймешь, Гаврюша?

– Да уж постараюсь! – отвечал он.

– И не тошно будет ругань переводить?

– Мне Яков Агафонович обещал, что старшим приказчиком через два года поставит. Если теперь вашей милости плохо послужу – он мне это попомнит! Ничего, смирю гордыню...

– Значит, так, орлы. Мы с Гаврюшей берем цирк на абордаж, проникаем в каюту де Баха, и я показываю ему чертеж новой подножки. Даже обещаю сделать пробную за свой счет – коли ему понравится, заплатит. А денег у него куры не клюют – вряд ли он так уж скуп. И мы на другой же день приносим с тобой, Гаврюша, доски и шест, о которых я с утра сговорюсь в порту. И начинаем во дворе сколачивать подножку. Ты молотком орудовать умеешь?

– А ваша милость?

– Их милость не то что молотком – и рубанком, и долотом, и топором при нужде управится! – гордо отвечал за меня Тимофей. – Мы люди флотские!

Гаврюша поглядел на него очень недоверчиво.

Топором мне управляться не доводилось, а рубанок меня слушается. И чего мне стыдиться ремесла, когда сам покойный государь Петр Алексеевич на токарном станке набор для целой люстры, сказывали, выточил? Я, когда служил, и паруса шить научился – занятно стало, как это матросы гардеманом и иглой ловко управляют. Понимаю, что для теперешних дам и барышень это смешно и нелепо, так я ж на них жениться не собираюсь.

– Ты, Свечкин, будешь ходить дозором у цирка, одевшись по-человечески, а не в вонючую дерюгу!

– А для чего? – спросил Тимофей. – Вечером-то от вас, барин, никакой тревоги не выйдет, придете с Гаврюшей и уйдете. А вот коли сговоритесь с де Бахом, так наутро и я на вахту заступаю.

– Ладно, Бог с тобой, сиди дома. Найдешь, чем заняться. Вон, с дороги у меня исподнее не стирано, да и у тебя тоже.

Тимофей посмотрел на меня говорящим взором. В ушах моих явственно прозвучало: жениться вам, барин, надо...

Мы сговорились с Гаврюшей, что ближе к обеду я приду в Московский форштадт, но не сразу в ларионовский дом, а в трактир, и оттуда пошлю за своим толмачом. Он же принесет мне узел с одеждой и поможет приобрести вид мастерового. А что у простого плотника его измышление аккуратно вычерчено, как не всякий кадет еще сумеет, – не беда. Мало ли чудачков? Вон Яшка смолоду тайно немецкий учил. Я сам знавал человека, который собирал раковины и раскладывал по ящичкам. Ну а у меня блажь – чертить!

Собирался я в цирк забавнейшим образом.

В дорогу я, как всякий уважающий себя путешественник, взял пистолеты. Всякое бывает – и коли в Польше бунт, так и в Лифляндии может быть беспокойно. Пистолеты мои были, разумеется, английские, Спрингфильдского завода, капсюльные, карманные. Видимо, оттого, что сам я ростом невелик, оружие уважаю небольшое. Прелесть капсюльного пистолета в том, что он почти не дает осечек и очень подходит для дорожных приключений. Я рассудил, что могу в цирке сразу же наткнуться на Ваню – и без долгих рассуждений увести его. А на случай, если мне попытаются помешать, неплохо иметь оружие.

Конечно же, я не хотел устраивать в цирке пальбу. Пистолеты были на самый крайний случай, если окажется бессильна моя трость с секретом.

Я взял с собой в Ригу некий занятный гаджет – в русском языке нет слова, для обозначения механической игрушки, одновременно забавной и полезной, а у англичан, вишь, есть. Это была трость самого простого вида, довольно крепкая, которой при нужде можно отбиться от грабителя. Но в рукоять ее была вделана выдвижная подзорная трубка, нечто вроде укрупненного монокля. Она так ловко была упрятана в резьбе рукояти, что сразу и не разглядеть.

Я вообще люблю оптические игрушки. Как-то мы с Тимофеем разобрали купленный за немалые деньги фантаскоп, чтобы понять, как он показывает изображения на незримый для зрителя экран из прозрачной кисеи. Собрали мы его с некоторым трудом. Особенно мне понравились линзы, которые позволяют менять яркость изображения, так что при помощи фантаскопа можно явить милым дамам самое натуральное, возникающее из мрака и растущее прямо на глазах, привидение. Человек, который продал мне эту игрушку (гаджетом ее называть пока еще рано), обещал, что такое же впечатление будет, ежели вместо кисеи использовать дымовую завесу.

– Читывали Шекспира, читывали! – отвечал я ему. – Надо полагать, кто-то из приближенных принца Датского имел такой фантаскоп, чем и положил начало всей интриге. И тень отца Гамлетова имеет самое простое объяснение.

– Не имею чести знать господина Гамлета, – отвечал мне человек, чем привел меня на весь день в восторженное состояние души.

Два пистолета, тяжелая трость, да Гаврюшин тесак, да еще тот тесак, что мне обещан, – это уж был целый пиратский арсенал.

Вооружившись, я первым делом с утра отправился в порт. Моряк с моряком всегда столкуется! Я отыскал судовых плотников и сговорился с ними насчет досок и шеста. К московскому форштадту я шел берегом Двины. Проходя мимо бастиона Хорна, поднял голову и остолбенел – башня Святого Духа, одна из двух главных башен Рижского замка, смотревшая на реку, лишилась своей островерхой крыши! Батюшки мои, подумал я, никак и в замке изобретатели завелись? Увидев, как я таращусь на башню, ставшую ныне зубчатой, матрос, с которым я в порту обменялся двумя словами, объяснил: это все для науки. Откуда-то взялась мода глядеть в телескоп на звезды. Вот господин губернатор для этой надобности башню и приспособил.

Всю дорогу до Московского форштадта я только и думал, что о телескопе. Как странно – много у меня в доме всякой механики, а этого устройства нет. Надо бы раздобыть...

Маскарад совершился стремительно, вот только от тесака я отказался – мне было довольно и трости, на которую я полагал опираться, как человек в годах. И мы с Гаврюшей поспешили к цирку.

По донесениям Тимофея я знал, что директор с утра школит лошадей и штукарей, а потом одевается так, словно зван на бал в Дворянское собрание, и отправляется с супругой, сыновьями и приближенными лицами обедать. Я полагал застать его в ту пору, когда труды завершены, можно перевести дух, а будет ли на нем при этом модный сюртук и цилиндр – меня мало беспокоило.

У цирковых дверей сидели двое нищих – старый, у которого из-под дрянной шапчонки падали на лоб грязно-белые пряди, а смуглое лицо было в седой щетине, и помоложе, с преотвратной язвой на щеке. Нищим, которые не домогаются подачки, я обыкновенно подаю копейку. Эти не домогались – только седой пел что-то невнятное тусклым голосом, а тот, что помоложе, выдвинул вперед опрокинутую шапку, не произнеся ни единого слова, – видимо, ему было трудно говорить из-за ужасающей язвы, захватившей щеку и часть губы.

– Ну, приступим, благословясь, – сказал я Гаврюше. – Значит, напоминаю – коли увидишь, что я тащу его за собой, прикрывай отход да ори во всю глотку – мошенники шума боятся.

– Дай Боже, чтоб тем и обошлось, – отвечал Гаврюша. – А ваша милость пусть больше помалкивает. Я сам все обскажу, ваше дело – бумажку подать да по сторонам озираться.

– Твоя правда, – согласился я. – Ну, попробуем обойтись без лишнего шума, хотя боюсь, что вытащить наше сокровище втихомолку никак не удастся. Бог милостив – может, если припугнем пистолетами, они струсят и отдадут...

И мы вошли в цирк.

Когда я приходил с Тимофеем на представление, то, понятное дело, не изучал устройства здания. Было много народу, все галдели, пихались, к тому же мы спешили занять хорошие места на галерее. Сейчас я шел в поисках двери, ведущей в манеж, и был сильно недоволен тем, что столбы, на которых держались ложи второго яруса и галерея, были затянуты какой-то дурно расписанной холстиной. Изображала она чуть ли не сады Версаля – с подстриженными деревьями, уводящими вдаль аллеями, ротондами и беседками, как в имении у средней руки помещика.

Наконец мы отыскали выход в манеж и Гаврюша на хорошем немецком языке осведомился о господине директоре.

В это время там возводили деревянные козлы, закрепляя их растяжками, и я невольно вспомнил молодость – что-то в этих сооружениях было от стоячего такелажа. Но парусов я не дождался – это оказалось всего лишь устройство для натянутого каната, на котором должен был плясать щуплый молодец с двумя белыми веерами из страусиных перьев. Он проверял натяжение каната и совещался с толстячком, которого я сразу узнал – он во время представ-

ления вместе с парнишками в зеленых мундирах следил за порядком в манеже, сам производя больше беспорядка, чем вся прочая труппа, вместе взятая. Я прислушался. В сущности, я неплохо знаю немецкий, а эти двое говорили примерно так, как два ученика под присмотром учителя разыгрывают между собой беседу. Ни для одного из них этот язык не был родным.

Канатный плясун уговаривался с толстячком, чтобы он подольше паясничал, иначе слушатели не успевают хорошо установить козлы. Толстячок обещал и, в свою очередь, пытался одолжить у плясуна денег. Закулисная эта история была стара, как мир...

Гаврюше объяснили, что господина директора можно перехватить у выхода – он сегодня пораньше завершил свои занятия. Делать нечего – мы вышли в подковообразный коридор, что охватывал большую часть манежа вместе с ложами снаружи. Встали мы так удачно, что слышали голоса де Баха и его свиты, они же нас увидели в самый последний миг.

– Вечером приду и проверю, – говорил директор, – чему этот лентяй Казимир научил мальчика. Пусть оба готовятся! Кроме того, пусть он поработает с Фебом и Пегасом по отдельности. Ты будешь помогать ему, Йозеф. Ты, Альберт, заменишь сегодня меня.

Он отдал еще какие-то приказания, и мы вышли ему навстречу.

Де Бах был с супругой, весьма почтенной дамой, и с молодыми людьми, старший из которых, лет тридцати на вид, был очень на него похож. Я узнал Альберта – того наездника, что выезжал на танцующих лошадях, управляя двумя сразу. При нем была молодая красивая дама, модно одетая, вся в рюшечках и воланчиках, кружавчиках и ленточках, – очевидно, супруга. В этой свите выделялся юный фигляр-южанин, скорее всего итальянец. Я его узнал – он изображал жизнь и смерть солдата на скачущей лошади. Одет он был щегольски – едва ли не роскошнее всех в этой компании, а на пальце у него имелся перстень неимоверной величины – если прозрачный камень, в него вправленных, был настоящим, то перстень стоил дороже всего деревянного цирка вместе с мебелью. Но это, скорее всего, был штираз из свинцового стекла. Я читал о том, как изготавливают эти подделки, и проснулся в моей душе страсть к наживе – мастерил бы их так, что от настоящих камней не отличить.

Также директора сопровождал толстый пожилой мужчина с сильно помятым лицом, в расстегнутом мундире неведомой человечеству армии. Он старался придать себе услужливый вид и для того несколько наклонился вперед, держа голову чуть набок – классическая поза подхалимов и лизоблюдов! Похоже, это был Йозеф – правая рука директора по наведению и соблюдению порядка в шайке штукарей. И он же, с нарумяненными щеками и с бичом в руке, был главный на манеже во время представления, зычным голосом объявляя имена и таланты балаганщиков.

Увидев нас с Гаврюшей, директор изъясил неудовольствие и велел Йозефу выпроводить двух забулдыг, которые неизвестно для чего забрели в цирк. Я было возмутился, но Гаврюша обратился к де Баху со всей угодливостью опытного приказчика. Указывая на меня, он доложил, что я изобрел новый вид подножки для прыжков и прошу позволения показать свое творение господину директору.

Я мысленно чертыхнулся и подошел со всем смирением, на какое только был способен.

Де Бах взял мой чертеж, посмотрел на него сперва с брезгливостью, потом с любопытством, сделал мне вопросы о размерах. Гаврюша перевел, я ответил. Директорская свита вытягивала шеи, пытаясь разглядеть мое изобретение.

– Это надобно проверить, – сказал директор. – Без испытания платить не стану.

– Мы того и добиваемся, чтобы нам было позволено смастерить это устройство, высокочтимый господин директор, – сказал за меня Гаврюша, изгибаясь и показывая совсем уж сверхъестественную любезность. – Когда позволят нам принести доски с шестом, которые приобретем мы за свой счет, мы изготовим все, как задумано.

– Это ни к чему, у меня есть свои мастера, – отрубил де Бах.

И тут мой Гаврюша преобразился. Он выхватил листок из директорской руки и возразил язвительно:

– А коли так, вашей милости нашего устройства не видать. Только мы знаем, как готовить древесину, да и не все тонкости нарисованы, главные в голове держим. Идем, брат, тут нам делать нечего!

Это относилось ко мне. Я хотел возразить, но ловкий приказчик за руку потащил меня к двери.

– Я эту породу знаю... – успел он шепнуть, почти не размыкая губ.

– Их только так и проймешь...

Мы уже выскочили на Дерптскую улицу, когда нас нагнал черноволосый фигляр, похожий на итальянца. Он сказал, что господин директор просит нас вернуться.

Тимоша усмехнулся, а мне стало страшно за Яшку. Держать такого малого в приказчиках просто опасно – он глазом не моргнет, плетя интригу, чтобы пустить хозяина по миру, а самому занять его место.

Мы опять вошли в цирк. Де Бах был уже малость полюбезнее. Он предложил нам смастерить устройство и принести его, чтобы опробовать на манеже.

– Мастерить его здесь надобно, – отвечал за меня Тимоша. – Не хотим, чтобы хозяин видел, как мы его инструментом да из его дерева невесть что выделываем.

– Ну так приходите и делайте свою подножку, – сказал де Бах, который, сдается, очень торопился. – Йозеф! Скажи Карлу, чтобы позволил им работать на дворе, и догоняй нас!

Директор со свитой пошел к выходу. Нас же Йозеф повел в те цирковые помещения, куда посторонним хода нет, чтобы уж там свести с незримым Карлом.

Грешен, каюсь – не нравятся мне итальянцы. Они мнят себя наследниками того Древнего Рима, о котором все мы знаем из книжек, но на деле – совсем другой народ. А фигляр, который за нами бегал, впридачу еще был некрасив – всклокоченные на модный лад вороньи космы, губаст и носат, могу держать пари – под модным своим сюртуком и жилетом он волосат, как обезьяна.

Йозеф довел нас до того места, где конюшня соединялась с многоугольным зданием манежа. Там была довольно большая площадка, с которой можно было попасть в манеж не просто через вход в виде арки, а через целые ворота. Во время представления их закрывал занавес, который раздергивали и задергивали, сейчас он был убран. (Впоследствии я узнал, что это место именуется форгангом.)

К стене у форганга был приколот бумажный лист. Велев нам подождать, Йозеф пошел на поиски Карла. Я из любопытства посмотрел, что там такое написано. Оказалось – не написано, а нарисовано. Лист был поделен на множество пронумерованных квадратов, а в них были рисунки, выполненные так неискусно, словно малое дитя упражнялось в изображении корявых человечков. Я с трудом угадал в двух квадратах две фигурки с руками и ногами, стоящие на спинах то ли собак, то ли еще не открытых африканских животных. Одна фигурка от другой отличалась треугольником, заменявшим нижнюю часть туловища, – так я и догадался, что это наездница-прыгунья, а фигурка без треугольника – солдат, меняющий одежду с непостижимой скоростью.

Видимо, господа штукари вовсе не знали грамоте, раз порядок выходов был расписан столь оригинально.

У противоположной стены я обнаружил целый арсенал, но арсенал весьма странный. Там были длинные стояки для ружей, пик и знамен, на вколотых в стену крючьях висели цветочные гирлянды и всякое пестрое тряпье, а также мундиры, плащи и треуголки. Видимо, наездники и прыгуны без всякого стеснения прямо тут и переодевались, рискуя, что публика, сидящая в ложах напротив форганга, случайно увидит их в исподнем или даже без оногo.

Неподалеку от форганга был устроен выход в сад – достаточно большой, чтобы проводить лошадей. Сейчас двери были нараспашку. Оттуда и явился Карл – пожилой конюх, основательно припадавший на правую ногу. Он был на конюшне главным, но в подчинении Йозефа, и носил такой же фантастический мундир. Тут лишь я понял, что они, скорее всего, бывшие штукари, лет двадцать назад блиставшие в этих мундирах примерно так, как сейчас блистают молодые наездники. На старости лет они не захотели покидать привычной обстановки, поменяли ремесло, но в цирке остались.

Йозеф объяснил Карлу поручение де Баха, и тот велел нам с Гаврюшей, придя в это же время в подходящий для нас и свободный от представления день, спросить его, Карла Шварца, – а он уж укажет, где нам располагаться. И даже отведет на конюшне уголок для хранения нашего имущества.

Тут, кстати, выяснилось, отчего вокруг конюшни распространяется такое сомнительное благоухание. Оказалось, что господа артисты устроили себе в конских стойлах нечто вроде отхожего места. Я сперва возмутился, но потом одобрил это изобретение: не в парк же им под куст бегать! А подстилку из стоил погрузят на телеги, увезут, и опять в парке будет аромат жасминов.

Теперь следовало уходить – а уходить мне не хотелось. Я сказал по-русски Гаврюше, что если уж вечером не назначено представления, а конюхи и наездники будут школить лошадей, то наверняка появится и Ваня.

– То бишь, вашей милости угодно тут остаться до вечера? – уточнил Гаврюша.

– Да он уж почитай что наступил.

– Попытаемся, с Божьей помощью...

По дороге к цирку я объяснял Гаврюше устройство здания и лож в два яруса. Люблю, когда в людях есть любознательность. Он мои уроки усвоил даже лучше, чем я мог ожидать.

Мы шли по дугообразному коридору к выходу, когда он остановился у расписной холцевой стенки, нашел место, где части холста сходились, быстро достал ножик и выдернул несколько мелких гвоздиков, которыми эта декорация была приколочена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.